

ГРИГОРИЙ ГЕРШУНИ

ИЗ НЕДАВНЕГО ПРОШЛОГО

С ПРЕДИСЛОВИЕМ В. И. НЕВСКОГО



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

ГРИГОРИЙ ГЕРШУНИ

ИЗ НЕДАВНЕГО ПРОШЛОГО

С ПРЕДИСЛОВИЕМ В. И. НЕВСКОГО



МОЛОДАЯ ТРАДИЦИЯ

Обложка — гравюра на дереве
работы Н. П. Дмитриевского



ГРИГОРИЙ ГЕРШУНИ



1928 г.
Ленинградский Гублит № 2938
Тираж 5.000 экз.

Обложка — гравюра на дереве
работы Н. П. Дмитриевского



1928 г.
Ленинградский Гублит № 2938
Тираж 5.000 экз.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Читателю, быть может, покажется странным то обстоятельство, что книжка воспоминаний члена партии социалистов-революционеров рекомендуется, как полезное и поучительное чтение нашей пролетарской молодежи.

Позорная роль партии социалистов-революционеров, поднявших оружие в дни великой пролетарской революции против рабочих и их вождей, общезвестна. Но это обстоятельство находит свое объяснение прежде всего в том, что до империалистической войны и в особенности в период первой русской революции и в годы, ей предшествовавшие, партия эта, сумевшая сплотить мелко-буржуазные революционные элементы, неоднократно выдвигала на арену политической борьбы с самодержавием подлинных революционеров, беззаветно жертвовавших своей жизнью во имя интересов рабочих и крестьян.

Пускай мы не разделяем тех методов борьбы путем индивидуального террора, которого держались эти революционеры, пусть верно то, что таким путем никогда не достигаются цели окончательного освобождения пролетариата и крестьянства от ига капитала; принимая во внимание даже ту бесславную страницу истории партии социалистов-революционеров, которую они начали с первых дней Октябрьской революции, принимая все это во внимание, нужно однако сказать, что были и иные времена, когда такие героические личности, как С. Балмашов, убивший министра внутренних дел Д. Спунгиса, Е. Сапонов, казнивший другого дикого изувера-оппортуниста, тоже министра, Плева,

и И. Каляев, бросивший бомбу в великого князя и московского сатрапа Сергея Романова, считая себя членами партии социалистов-революционеров, шли с револьвером и бомбой на верную смерть не против рабочих и крестьян, а против их вековых врагов. Результаты этих актов были далеко не те, каких ожидали их исполнители: самодержавие пало не под ударами этих самоотверженных героев, а сброшено усилиями народных революционных масс, т. е. прежде всего пролетариата и революционного крестьянства.

Очень часто политическое убийство злейших врагов народа влекло за собой не только героическую смерть таких людей, как Балмашов, Каляев или Сазонов, но влекло за собой и разложение в рядах самих революционеров. Примеров тому множество.

Один из таких примеров довольно подробно описывает и сам автор печатаемых воспоминаний.

Фома Качура, крестьянин по происхождению, рабочий по ремеслу, неудачно покушавшийся 29 июля 1902 г. на харьковского губернатора князя Оболенского, поровшего крестьян, будучи арестован, откровенно оговорил своих товарищей.

Другой еще более показательный пример — это Григорьев, уж совсем гнусный предатель, о котором также говорит Гершуни и по предательству которого сам же Гершуни был приговорен к смертной казни.

Всему миру известный пример — это Е. Азеф, член центрального комитета партии социалистов-революционеров, руководивший боевой деятельностью партии и вместе с тем служивший в политической полиции царя.

Террор, не как действия революционных масс в моменты решительных боев этих масс с классовыми врагами, всегда таит в себе

и обратную сторону медали: предательство, провокацию и разложение и гибель революционных рядов. Правда, и в ряды самого правительства, какими бы целями любое правительство ни прикрывало провокацию, исходящую из недр органов власти, предательство и провокация вносят гибель и разложение. Но за всем тем никогда еще не было в истории случая, когда бы вслед за террористическим выстрелом или бомбой правительство отдавало власть в руки людей, пославших на верную смерть своих товарищей с динамитом или револьвером.

Господство того или другого правительства есть господство класса, интересы которого выражает и отстаивает то или другое правительство, а классы побеждаются только классами в беспощадной классовой борьбе масс.

Вот почему коммунисты всегда говорили, что индивидуальный террор, имея своих героев, как Халтурин, Желябов, Перовская, Сазонов, Каляев и Балмашов, рождает и своих Дегаевых, Григорьевых, Азефов.

Освобождение рабочих есть дело самих рабочих, ведущих свою классовую борьбу под руководством своей партии, связанной заветами таких вождей, как Ленин, и стальной пролетарской дисциплиной.

Все это верно и известно теперь каждому сознательному комсомольцу, но все это не исключает того, чтобы почерпнуть при чтении таких воспоминаний, как воспоминания Гершуни, большое духовное наслаждение и ненависть к такому строю, где насилие, гнет, эксплуатация, тюрьма, чуть ли не всеобщее предательство и провокация были основной системой управления, т. е. к такому строю, где во главе государства стоит представитель дворянства и буржуазии.

Отвращение к такому строю и его методам управления, весь ужас этого строя с его застенками, палачом Филиппевым, носившим

офицерские погоны и Георгия, ненависть к нему внушают самые талантливые страницы печатаемых воспоминаний.

И другая мысль, помимо воли самого автора, отчетливо внедряется в голову читателя, это сознание, что только борьбой самых широких революционных масс достигается свобода. В самом деле, разве не чувствуется это движение масс за стенами описываемой Гершуни тюрьмы, когда именно под влиянием могучих ударов этих масс в твердыни самодержавия задрожали и стены Петропавловки и Шлиссельбурга и сквозь трещины в этих стенах подул свежий ветер революции и на шлиссельбургских узников?

Чувствуется, несмотря на эс-эровское пренебрежение к „социал-демокрантам“, т. е. к социал-демократам, отцам нынешних коммунистов, тогда в эпоху первой революции именно и стоявшим во главе массового движения, принесшего дуновение свежего ветра даже в такую тюрьму, как Шлиссельбург. (Автор подчеркивает ходячее мнение, что будто бы амнистия, вынужденная у царя борьбой рабочих масс в 1905 году, освобождала всех социал-демократов и оставляла в тюрьме террористов, мнение далеко не правильное, так как в эпоху первой революции не мало социал-демократов и рабочих было казнено, расстреляно и после амнистии продолжало сидеть на каторге и в тюрьме).

Это влияние массовой революционной борьбы рабочих, которая ведь даже не описывается автором, благодетельное влияние даже на такие застенки, как царский Шлиссельбург, чувствуется тем сильнее, чем ярче и красочнее описываются те переживания узника, который с часу на час ожидает смертной казни и, стало быть, прихода заплечных дел мастера Филиппева. А нужно сказать, что переживания эти описаны превосходно: умирать за свободу, за дело рабочих и крестьян, за правое дело трудящихся масс—радостно, но смерть в застенке, в смрадной

закуте-тюрьме, под рукой озверелого палача --не легка. И вот почему такое сильное впечатление производит на фоне этих мук и переживаний то могучее влияние, которое оказывает на узника, не знающего в чем дело, но по тысяче изменившихся мелочей тюремной жизни понимающего, что гигант, борющийся за стенами каземата, потрясает и этот самый каземат.

И еще одно соображение, побудившее напечатать воспоминания Гершуни, хочется напомнить здесь. Белогвардейцы всех мастей и направлений, точно так же, как и „друзья“ рабочих всех мастей и направлений, в роде меньшевиков, продолжают твердить, что коммунисты мешают с грязью славных революционных деятелей прошлого. Это, конечно, ложь, а вот правда—то, что деятели бывают разные: такие, что, не разделяя коммунистических взглядов и заблуждаясь, все же отдают или отдавали свою жизнь за благо и интересы трудящихся (к числу таких деятелей относится и Гершуни), и такие, что под маской революционера отстаивают интересы врагов трудящихся.

За те страдания и за тот ужас, который переносили во имя трудящихся в царских востенках люди, подобные Желябову, Перовской Балмашову, Каляеву, пролетариат и чтит их память.

Печатаемые воспоминания¹ вместе с описанием побега из Сибири из каторжной тюрьмы рисуют очень яркую страницу революционной борьбы в России.

Не следует только забывать, что автор воспоминаний, будучи выдающимся организатором и родоначальником „Боевой организации партии социалистов-революционеров“, придававший такое огромное

¹ В некоторых местах текст сокращен. Выноски автора вошли в текст, но заключены в скобки. Заголовки даны редакцией. Встречающиеся лица и события объяснены в примечаниях.

значение террористической деятельности, почти до конца дней своих не знал, что в числе ближайших товарищей по этой своей деятельности имеет не кого-либо другого, а... провокатора Азефа!

Это была обратная сторона медали террора.

Не следует также забывать, что если Гершуни направлял террор против врагов трудящихся, то его наследники не постеснялись направить его против рабочих и их вождей.

В этом отношении разница между террором Гершуни царских времен и эс-эровским террором времен Октябрьской революции огромная.

С этой точки зрения полезно вспомнить и сравнить нынешних „героев“ социалистов-революционеров с их же единомышленниками тех времен, когда казалось, что по крайней мере в одном вопросе социалисты-революционеры никогда не ошибутся — в вопросе, кто враг и кто друг трудящихся.

Но такова ирония истории: вчерашние друзья трудящихся—нынче враги.

В. Невский

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

АРЕСТ И СУД

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ТО БЫЛО РАННЕЮ ВЕСНОЮ

Начну с момента ареста. „То было раннею весною“— 13 мая 1903 года ¹. В партийных кругах после некоторой подавленности чувствовался сильный подъем. Расстрел златоустовских рабочих ², потрясший тогда всю страну, не остался безнаказанным. 6 мая среди бела дня в городском саду членами Боевой Организации ³ был „расстрелян“, как потом выразился на нашем процессе защитник Л. А. Ремянниковой ⁴, виновник златоустовской бойни — губернатор Богданович ⁵.

... Я направлялся из Саратова и до Воронежа все колебался: проехать ли прямо в Смоленск или заехать в Киев, где необходимо было сговориться относительно партийной типографии.

... Я направился на Киев. Чтобы не заезжать в город, дал условленную телеграмму о встрече в дачной местности Дарница (несколько станций от Киева). Прибыл туда — никого нет, кого нужно, но бросился в глаза „тип“, революционеру совсем не нужный. Насладившись вдосталь свежим лесным воздухом, со следующим поездом направился в Киев. Не желая вызывать на станции сенсацию, слез на пригородной станции Киев 2-й. Гляжу окрест — вдали реют некие, счетом ровно пять. Для меня или не для меня? Вот вопрос, который, впрочем, решился довольно скоро.

Прошел станцию, двинулся по улице. Чувствую: для меня! Не иначе, как для меня! Оглядываться нельзя. Составляю план отступления: выбрать одинокого извозчика, посулить журавля в небе и целковый в зубы и скрыться. План, в сущности говоря, гениальный, и потерпел участь всех гениальных планов: выполнить его не дали. Только вдали показался извозчик, позади слышу бешеную скачку. Через несколько моментов останавливаются все пролетки, кто-то сзади хватает за руки, чувствую какие-то крепкие объятия, и сразу окружен маленькой, но теплой компанией: пять шпиков и городской.

Кто-то предупредительно берет портфель, двое под руку: извозчик — пожалуйста.

— Поезжай, сообщи ротмистру.

— А вы куда?

— Известно куда — в старокиевский.

Поехали в старокиевский участок — ему же быть жандармским управлением. По дороге начинаю щупать почву.

— Вы чего, собственно говоря, меня арестовали?

— Да так, приказано было.

— Ну, смотрите, как бы в ответе не были: чего-то тут напутали.

— Все может быть. Да только, как нам приказано, так и делаем.

— Да вы-то меня знаете?

— Почему мы знаем. Говорили — приедет кто-то, ну вот и приехали, а там разберут.

„Да, уж, пожалуй, что разберут“, — думаешь про себя, представляя себе картину „разбора“.

Едем. Публика подозрительно оглядывается: что, мол, за странная компания. Все по-обыкновенному: вывески, лавки, парочки направляются в сады,

Странное дело: все время, в течение слишком двух лет старался представить себе момент ареста. Как это будет? Что будешь чувствовать в момент, когда вот был человек и не стало человека. И все казалось, что чувства будут в этот момент какие-то особенные, какие-то никогда небывалые.

А между тем, самое будничное настроение. Как ни в чем не бывало.

Только все думаешь: вот он, конец-то, как пришел. Как просто.

Глядишь по сторонам: нельзя ли?.. Оказывается, никак нельзя. Приехали. Старокиевский участок. Привет тебе, „приют знакомый“. В дежурной—околоточный. Кругом тихо и пустынно, как в голове министра. Шпики о чем-то пошептались с околотком.

Начинается обычный опрос: кто? как?

— Паспорт.

— Извольте.

Начинается обыск. Из бокового кармана выуживается браунинг. Околоток несколько-оживляется.

— Имеете разрешение?

— Нет.

— Ну, знаете, плохо будет.

— В самом деле? Разве уж так строго?

— Нынче очень строго. Помилуйте: особенно браунинг. Без штрафа не отделаетесь.

— Вот оказия-то! А может, как-нибудь и пройдет.

— Вот посидите там, подождите: начальник охраны скоро явится.

Очевидно, не имеют никакого представления обо мне. Сижу. Нельзя ли... Нельзя. Шпики, не зная, куда деться, расположились у дверей. Проходит минут двадцать. Вдруг с шумом открывается дверь, вваливается

господин в штатском. Сразу видно — переодетый жандарм. Подлетает вплотную:

— Ваша фамилия?

— Если вы меня арестовали, то вы, очевидно, знаете, кто я.

— Ну, чего там! Сказали бы сразу, без излишней канители.

Не знаю уж, развязный ли его тон или просто много досады накопилось, но незаметно даже для себя, как гаркну: „Вы, сударь, очевидно, в кабаке воспитывались. Прошу таким тоном со мной не разговаривать“.

Охранник сделал шаг назад, пристально уставился на меня, да как рявкнет: „Жандармов! Городовых! Охрану к дверям! Вы головой отвечаете мне за этого человека!“ бросился он вдруг к совершенно растерявшемуся околотку и, как бешеный, заметался по комнате.

Вот уж именно: ногой топну — из-под земли вырастут легионы. В один миг — не успел даже оглянуться — вся дежурная битком набилась жандармами, городовыми, — кто в расстегнутом мундире, кто в блузе, на ходу напяливая шашку — все с удивлением оглядываются кругом: по какому, мол, поводу шум, а драки нет. Беготня по лестнице вверх и вниз, беспрерывно звенит телефон... Пошло...

Так как я все хотел допытаться, что собственно, послужило поводом к аресту, то раньше всего внес протест против незаконного задержания агентами охраны совершенно неизвестного им человека.

— Да ведь вы такой-то! Мы-то ведь знаем. Почему бы вам не назвать себя?

— Объясните мне раньше, почему ваши агенты меня арестовали, а потом уж будем с вами разговаривать.

Так ничего друг от друга не добились.

Часам к одиннадцати отвели в камеру. Ключ взял себе ротмистр, к дверям приставили жандармов, бес-
сменно стоявших у „фортки“.

Ночь на первом новоселье прошла без инцидентов. Солома жесткая и колючая, клопы злющие... Впрочем, наконец и клопы устали и крамольник устал: в конце концов заснули.

Днем поставили жандармов в самую камеру. Один-
хохол, уже пожилой, другой — молодой.

Час — другой с ними не заговаривал. Когда они изрядно соскучились и скулы у них начали трещать от зевоты, затеял беседу.

— А как вы думаете, кому из нас лучше: вам или мне? Я-то, по крайней мере, знаю, за что сюда попал, а вы за какие прегрешения?

— Служба. Известное дело, — оглядываясь на двор процеживает хохол.

— Ну, хорошо, служба. А подумали ли вы о том, какие-такие мои провинности, что вам приказано гля с меня не спускать.

— Чего думать! Наше дело, панич, маленькое: что начальство прикажет, то и делаем.

— Ну, не совсем уж так оно. Если бы вам приказали накормить да напоить человека — пожалуй, тут раздумывать не о чем. А когда вас приставляют, чтобы не спускать глаз с человека, которого ваше начальство скоро поведет на виселицу, ужели вы даже не задумываетесь, за что его хотят повесить.

Жандармов передернуло. Подошли ближе, насторожились.

— Слушайте. Вот вы только подумайте: знал же я, на что иду. Чего же бросил и дом, и родных

и состояние. Не сумасшедшие же мы. Стало быть, для чего-нибудь мы это делаем. Чего же мы хотим...

С час поговорили. Как живой стоит и теперь предо мной этот старый жандарм с черными глазами, покрытыми влагой от душевного волнения, охватившего его, когда с глазу на глаз по-человечески поговорил с „арестантом“.

Часам к пяти, слышу, поднялась какая-то возня. Является жандармский офицер — „пожалуйста!“ В коридоре, по лестнице жандармов и городских наткано тьма-тьмушая. Вводят в какую-то комнату, наполненную ими же. Тут же все начальство. В черном сюртуке — прокурор судебной палаты.

— По распоряжению департамента полиции вы будете отправлены в Петербург. Будьте добры раздеться.

Гюго ⁶ говорит, что палачи при исполнении обязанностей — самые любезные люди. Русские жандармы, когда им предстоит „серьезная“ обязанность, не менее любезны. Помню, у меня от его изысканного тона даже сердце екнуло. „Что-то затевают“ — пронеслось в голове.

Посредине стул, вокруг — аксельбанты и эполеты. Раздеваюсь. Остался в одном белье. Тщательно осматривают уже вчера распоротое платье.

— Будьте добры все с себя снять.

Снял. Сижу.

Осмотрели. Ничего противозаконного не нашли. Говорят, короли совершают в торжественной обстановке свой туалет. Не понимаю, что хорошего находят в этом.

Подали чистое белье.

Оделся.

— Все? — спрашиваю.

— Да, все. Только видите, г-н Гершуни, вам придется подвергнуться маленькой неприятности... распоряжение свыше... вот телеграмма... это не от нас...

Седой полковник, смущаясь, путаясь, указывает на какую-то бумагу.

— Что такое, в чем дело?

— Да видите... распоряжение заковать в кандалы...

Является молодой конвойный, приносит кандалы, наковальню, раздается лязг кандалов.

Теперь, вероятно, это явление обыкновенное. Но то было в „доконституционное время“⁷. Тогда к этому „еще не были привыкли“. Все смущены, сконфужены, у всех глаза опущены или бегают по сторонам: стараются не глядеть друг на друга. Налаживают подкандалники. Примеривают кандалы. Подобрали по мерке. Раздается первый гулкий удар молота по заклепке.

Всех передергивает.

Глаза опускаются еще ниже. Прокурор усиленно сосет сигару, полковник что-то внимательно рассматривает в окно. Прямо против меня черноглазый жандарм, с которым утром вел беседу. Глаза наши встретились. В его глазах было столько участия и муки, что я почувствовал в нем родную душу. Он был бледен, как смерть. Стараюсь смотреть на него в упор. Конвойный быстро делает свое дело. Молот гулко звучит и удары, кажется, пробуждают совесть даже в этих людях.

— Готово. Прикажете ручные?

Полковник утвердительно качает головой. Черноглазый жандарм, тяжело дыша, подвигается к стене, стараясь прислониться, но не выдерживает и, очевидно, боясь упасть, медленно, незаметно пробирается к выходу...

ГЛАВА ВТОРАЯ

ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО — БЕЖАТЬ

В шикарной карете, под эскортом казаков мчимся на вокзал. Объехали пологно дороги и прямо, к великому изумлению стоявшей вдали публики, к вагону. Нам отвели два купе, вагон потом прицепили к курьерскому поезду, и в сопровождении двух офицеров и шести унтеров — в Питер.

Много интересного было в дороге, но все больше из области неудобосказуемого.

По всей линии были даны телеграммы, чтобы жандармы встречали вагон № такой-то. Интересующейся публике говорили, что едет какой-то важный чиновник. Не забуду одного курьеза.

На второй день пути дежурный офицер предложил взять из ресторан-вагона обед. Заказал и распорядился, чтобы подали в купе. Официант, очевидно, предполагая прислуживать важной персоне, с шиком влетает с серебряным прибором в купе, где застает на кушетке растянувшегося во весь рост джентльмена, скованного по рукам и ногам, под охраной вооруженных жандармов. Ужас его был так велик, что у него все повалилось из рук и некоторое время он не мог притти в себя.

Но потом, оправившись, упорно хотел взять серебро обратно, боясь, что у такого „сурьезного“ преступника, пожалуй, чего и не досчитаешься потом. За таковые „несуразные“ понятия был дежурным унтером обруган „необразованностью“ и деревенщиной татарской.

Вечереет. Офицер, утомленный, сидит в коридоре. Унтера разнежились и согласились спустить окошко.

В купе врывается аромат теплого весеннего вечера. Поезд медленно движется по самой живописной местности—около Вилейки. На зеркале воды мерно качаются лодки. Доносятся звонкие голоса молодежи. Разодетые, в ярких весенних костюмах, барышни машут нам платками. По берегу — густой, зеленый лес. То там, то здесь вырисовываются живописные группы гуляющих. Свежая, сочная трава с веселенькими, как смеющиеся детские глазки, незабудками ласково манит к себе. Негой и весенним теплом веет кругом.

Человеческое горе, муки, голод, холод, бесправие, ад угнетения и рабства, созданный в России — все куда-то пропало, как-то исчезло. Жизнь кажется такой красивой, такой манящей. Даже жандармы притихли, очарованные картиной.

Мучительно, неудержимо тянет туда — на волю. В сердце прокрадывается боль. Какая-то щемящая тоска давит грудь. Думы — какие-то тяжелые, неопределенные: не то неясные обрывки воспоминаний детства, не то мутные клочья туманного и тревожного будущего. Из груди вырывается не то стон, не то вздох. Тело вздрагивает, лязг цепи приводит к действительности. Жандарм уныло и как бы безнадежно машет рукой: „э-э-эх, жизнь ты каторжная!..“

Но впечатления и настроение меняются быстро. Завтра утром должны прибыть в Петербург. Неужели так и доедем? Неужели ничего не случится? Мысль лихорадочно начинает работать.

Бежать! Во что бы то ни стало бежать!

Создаешь план побега.

Ночью офицер устанет, будет сидеть в коридоре. Жандармов можно будет опить. На подъеме выскочить в окно. А кандалы! Разоргать рубаху, обернуть,

чтобы не звенели, захватить шашку, в лесу сбить заклепку.

Ручные кандалы. Мылом. Надо захватить с собой мыла, хорошо намазать кольца — должны слезть. Все обдуманно, все предусмотрено. Унылое настроение, навеянное весенней негой, как рукой снято. Грудь дышит высоко и сильно. Летаешь мыслями бог весть куда. Обнимаешь свободу.

Только бы ночь скорее настала. Ждешь ночи...

.....

Поезд останавливается на какой-то маленькой станции. Проходит начальник в красной шапке. Манит рукой к окну. Всмотриваюсь — дрожь пробегает по телу.

— Михаил, это ты? Как ты здесь?

— Тише! Будь готов! Что бы ни случилось на этом перегоне — не тревожься. Когда услышишь: „у нас цветы“, следуй за ними: это наши. Прощай. Скоро увидимся.

— Постой, бога ради, Михаил, объясни, как ты здесь? И почему ты в форме начальника станции? Что все это значит? Как вы так быстро организовались?

Я припал к стеклу, но Михаил, сделав предостерегающий знак рукой, отходит от вагона и дает сигнал к отходу поезда. Сердце бьется, точно в груди молота стучат.

Поезд ускоряет ход, потом летит с невероятной быстротой — очевидно, спуск. Потом замедляет ход. Вдруг — что за чорт! Вагон катится назад. Катится с легкостью и бесшумно, как будто оторвавшись от поезда. Через несколько минут замедляет ход. Слышны голоса и команда: „шашки-и-и вон!“ Лязг шашек. В коридоре слышен зычный голос: „Кто тут начальник конвоя? Почему начальник конвоя не на месте?“

Жандармы вскакивают, протирают глаза, будят дежурного офицера. К купе подходит грозный жандармский генерал и обрушивается на дежурного.

— Так это вы так исполняете свои обязанности! Это вы так конвоируете государственных арестантов!

Офицер пытается заспанным голосом что-то объяснить.

— Молчать, когда с вами начальство разговаривает! Да знаете ли вы, что злоумышленники отцепили вагон и готовились отбить вашего арестованного, и только благодаря распорядительности моего адъютанта мы сумели разогнать шайку?

Я прислушиваюсь, ни жив, ни мертв. „Готовились отбить арестованного“. Так вот оно что! И все провалилось. Бедный Михаил. Знает ли он уже?

— Вы ваших людей всех знаете?—рычит генерал.

— Так точно, ваше пр-во, люди надежные.

— Надежные? Тут без измены не обошлось. Вы все будете отданы под суд. Осмотреть у арестанта кандалы!

Осматривают—кандалы целы.

— Господин ротмистр, смените старый конвой нашим. Поставьте двойную охрану.

В купе вваливаются жандармы с обнаженными шашками. Офицер что-то пытается говорить, но генерал снова набрасывается на него, грозит судом, расстрелом. Дверь купе закрывается. Один жандарм наклоняется ко мне, целует в лоб и шепчет: „у нас цветы“. Двое поднимают на руки, подают через окошко стоящим снаружи жандармам, кому-то сидящему верхом на лошади, кладут на колени, и мы мчимся.

— Узнаешь?—шепчет знакомый голос.

— Ты, Михаил!

— Тише, опасность еще не миновала.

Несемся с быстротой молнии.

Вдруг—крик, ружейная пальба.

— Прячься в кусты,—шепчет Михаил, спуская с лошади. Лошадь, раненая пулей, помчалась, как бешеная. Вслед за ней пронесся отряд, продолжая стрельбу. Стало тихо. Мы поднялись и углубились в лес. Кандалы мешают двигаться, а сбить не удается. Руки и ноги сбиты, отовсюду сочится кровь. Томит страшная жажда. Михаил с трудом меня поддерживает. Невероятная тоска охватывает меня.

— Не дойти, друг. Чувствую, что не дойти.

— Скоро, скоро. Еще немного—и мы у цели,—успокаивает Михаил.

.....

— Панич. Да вставайте же, скоро приедем. Что вас никак не добудишься,—ворчал дежурный жандарм.

В окно било веселое, ясное утро. Мы подъезжаем к Петербургу. Офицеры разодеты в парадную форму. Серебро эполет красиво оттеняла лазурь мундира.

Сборы недолгие. Настроение, навеянное сном, быстро переходит в другое—боевое. Близость встречи с „ними“, с „Петербургом“ подмывает: схватка близка—и последняя схватка. Впереди рисуется процесс—первый большой процесс социалистов-революционеров“. Народу набрано много и народу хорошего. Все знакомцы и друзья. Мы „им“ покажем, как воюют. Бодро, весело глядишь вперед. Первый процесс для революционера—это как первый бал для шестнадцатилетней девушки. Нужды нет, что первый же часто бывает и последним, что впереди виселица: идешь, как на бой, как на праздник...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ЗАЯВЛЕНИЙ НИКАКИХ НЕ ИМЕЕТЕ?

В таком настроении с большой помпой был доставлен в жандармское управление. Ввели в какую-то комнату. Посредине стул: для „бенефицианта“. Кругом жандармы. Расположился, жду, что из этого выйдет.

Удивительно в Петербурге вежливый народ. Только к ним приехал, а уже тебе сейчас готовы честь и всяческое уважение оказать. Началось представление депутатов: от корпуса жандармов, министерства юстиции, министерства внутренних дел и пр.

Кандалов не снимали. Для фотографии позировал в ручных и ножных.

— На допрос.

Громяхая кандалами, нарушая общественную тишину и спокойствие, пробираюсь в „допросную“. Жандармский генерал и очаровательный Трусевич—тогда товарищ-прокурора судебной палаты по секретным делам, ныне волею божьей директор департамента полиции. Старый знакомый, но не скажу, чтобы приятный.

— Ваша фамилия—Гершуни?

— Вам лучше знать. Чем могу служить?

— По закону (...), арестованному в течение двадцати четырех часов должны предъявить обвинение. Угодно будет вам назвать себя?

— Нет-с, не угодно. А вот, не угодно ли будет „представителю закона“ объяснить арестованному, почему его арестовали агенты, не знавшие его?

— Техника ареста подлежит ведению охраны: мы об этом ничего не знаем. Вы привлекаетесь по обви-

лению в принадлежности к партии социалистов-революционеров " и боевой организации, в участии в убийстве министра Сипягина ¹⁰ и губернатора Богдановича, в покушении на обер-прокурора Победоносцева ¹¹.

— Были ведь еще покушения на Оболенского ¹² и фон Валя ¹³, за одно бы уже. Я могу идти к себе, не правда ли?

— Тут постановление о заключении вас под стражу; вы подпишите.

— Попробую посидеть без подписи. Авось не выселят.

— Значит, вы от показаний отказываетесь совершенно?

— Да, похоже на то. Прошу в протоколе внести мой протест против наложения оков, в чем я вижу акт мести со стороны правительства...

До двенадцати часов ночи сидел в жандармском.

В полночь вывели, усадили в карету и под надежной охраной отправились в путь. Подъезжаем к Дворцовому мосту. Ага! Значит, в Петропавловку ¹⁴.

*

Железные ворота.

Жандармский офицер отправляется хлопотать, чтобы дали приют. Переговоры ведутся довольно долго.

Наконец ворота открываются: пожалуйте.

Проходим через кордегардию, где под ружьем стоят два взвода солдат.

Звон кандалов гулко отдается под каменными сводами.

Проходим коридор нижнего этажа. Двери камер настежь, оттуда несет мраком, холодом и затхлостью. В нижнем этаже очень редко держат заключенных,

вследствие крайней сырости. До конституционного периода камеры там пустовали. Поднимаются картины застенков. Взираем по лестнице и сразу при повороте—пожалуйте.

Маленькое замешательство: по инструкции необходимо раздеть и тщательно осмотреть, а между тем из-за кандалов нельзя снять ни платья, ни обуви. Расковывать же ночью комендант не разрешает, боясь поднять всю крепость. Пришлось ограничиться осмотром карманов и рта.

Через окошко пробивается ранний рассвет петербургского утра. Свеча в железном подсвечнике тускло мерцает. Пахнет сыростью. Камера довольно большая: шесть шагов в ширину и десять в длину. Потолок низкий, сводом. Окошко на самом верху. Прямо против окна, чуть не вплотную—крепостная стена. Серая, полуразвалившаяся. Снаружи крепостные стены облицованы гранитом и имеют вид зловещий, но все же величественный. Изнутри—мерзость и запустение. Зеркальное отражение самодержавного режима. В ущелинах пробивается яркая, свежая зелень. Койка, прибитая к полу, железная доска, врезанная в стену и имеющая изображать стол, да клозет—вся обстановка.

Рано утром разбудили. Повели вниз расковывать. С непривычки провозились больше получаса. Отобрали платье, выдали казенные белье, туфли и синий халат—таков костюм. Явился заведывающий арестантскими помещениями—полковник Веревкин—объяснять „права и обязанности“.

— Писать родным можно?

— Да, два раза в неделю, только нужно будет ждать распоряжения департамента полиции.

— Свидания?

— Как же, как же. По вторникам и субботам—если будет разрешение от департамента полиции.

— Книги читать?

— Можно, можно, только вот разрешение департамента полиции.

— Пищу улучшат?

— Сколько угодно, вот, от департамента полиции деньги придут.

— А вешаются у вас тут, полковник, тоже с разрешения департамента полиции?

— Заявлений никаких не имеете?

— Нет, не имею...

Камера моя оказалась знаменитым в летописи крепости 46-м номером. Это совершенно изолированная с двойным затвором и железным засовом камера. Против камеры сейчас же поставили дежурных жандармов. Акустика такая, что малейший шорох производит сильный шум. Когда в камере перелистываете страницу—слышно в другом конце коридора.

В камере холодно и сыро. Топят до июня месяца, а иногда и все лето. Вечный полумрак. С сентября до марта освещения отпускают на 20 часов в сутки и все же приходится еще докупать. Целыми неделями приходится жечь свечи сплошные сутки. Электричество проведено только в 1904 году. Раньше освещалось керосиновыми лампами, а после истории с Ветровой¹⁵—свечами.

Тюрьма помещается в Трубецком бастионе; представляет собою пятиугольное двухэтажное здание, окруженное стенами бастиона; стена выше здания, в расстоянии одной почти сажени, так что свету проходит чрезвычайно мало.

Внутри здания двор, усаженный деревьями. Посреди двора баня. Охрана крепости поручается военному

караулу. Внутри жандармы и сверхсрочные унтера, так называемые присяжные. Разговаривать с арестованными сторожайше запрещено. Являются в камеру, выводят на прогулку и пр. обязательно вдвоем. Шпионство друг за другом и всех вместе за арестованными необычайное. Обыски в камере почти каждый день, когда водят на прогулку, которая продолжается 12—15 минут. Платье тоже подается только на это время.

Потекли дни тусклые, серые, однообразные. Книг нет, переписки нет, свиданий нет. Мучит все вопрос: каким образом арестовали? Неужели выследили, и вся сложная система конспирации, на которую так рассчитывали, оказалась негодной? Потом уже, по выходе из Шлиссельбурга¹⁰, мне передавали, что причина ареста—будто бы предательство какого-то студента, сидевшего как-раз у той дамы, по адресу которой пришла в Киев телеграмма. Студент будто бы разузнал, что телеграмма означает мой приезд, и за известную сумму продал это известие жандармам. Идет эта версия из различных официальных источников, но насколько это верно—судить не берусь.

Знаю только одно: выслежен не был, и жандармерия даже не знала, откуда я прибыл в Киев. Что они знают из дела, кого еще запутали, кого арестовали? Ни узнать что-либо, ни дать знать нет возможности. Являлся несколько раз Трусевич, но так как я наотрез отказался давать показания и просил меня не тревожить—меня оставили.

Прошел месяц, прошел другой. В середине июля приносят платье: одеваться. Там никогда не говорят, зачем вас вызывают. „Одеваться!“ И вы, идя с жандармами, не знаете, на допрос ли, на свидание ли, к доктору ли, на очную ставку или на какое-либо

другое жандармское применение. Приводят в допросную. Смотрю, знакомцы: Трусевич с жандармским полковником.

— ??

— Вам вручается дополнительное обвинение по участию в покушении на харьковского губернатора— князя Оболенского.

— Больше ничего?

— Больше ничего. Обвинение предъявлено на основании показаний и чистосердечного раскаяния Качуры¹⁷...

Внутренне передергивает, но сейчас же успокаиваешься: жандармский фокус. Стараешься сохранить хладнокровие.

Трусевич, желая, очевидно, поразить и вызвать на разговор, пускается в откровенности: под влиянием чего и что говорил Качура, что теперь его „помилуют и значительно смягчат участь“ и проч., и проч. Но попутно было упомянуто несколько подробностей, которые они могли узнать только со слов самого Качуры. Мысль работает быстро и мучительно.

Стараешься схватить положение дела: жандармская это ловушка или действительно Качура пал. Сопоставляешь мелочи: страшная мысль, как стальная игла, пронизывает мозг—нет сомнения: это слова и показания Качуры.

В душе поднимается невероятный ад. Мгновение— и все перед глазами поплыло. Делаешь над собой невероятное усилие, и, сохраняя наружное спокойствие, стараешься возможно скорее отделаться от них. В камеру! Скорей бы в камеру!..

Гулко гремит засов—ты один. В мозгу поднимается что-то большое, большое, чудовищно безобразное. Точно щупальцы спрута охватывают тебя всего железными

тисками и какой-то давящий замогильный холод леденит сердце.

Давящим призраком стоит Качура — предатель. Ум отказывается верить, а не верить — нельзя.

Воображение лихорадочно и тревожно работает, представляя себе те муки и пытки, которые в состоянии были сломить Качуру, и этого крепкого, верного, сознательного человека, кумир и гордость рабочих кружков, превратить в предателя, клеветника и злого оговорщика.

...Много пришлось пережить в жизни тяжелых давящих минут. Но таких мучительных, таких леденящих и опустошающих душу моментов не представлял себе.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПОЩАДИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ

Больше месяца никто не тревожил. В последних числах августа в шесть вечера, когда разносится ужин, в камеру открывается дверь. Арестованные имеют у себя большие кружки для кипятка. Когда жандармы разносят миски с ужином, обыкновенно навстречу идешь с кружкой. Слыша, что открывается дверь, в полной уверенности, что это унтер с миской, не оглядываясь, направляюсь с большой кружкой в руках. Не успел оглянуться — ко мне вплотную, с палкой в руке, с быстротой кошки, тревожно впиваясь глазами, подскакивает... Плеве!

Подскочил так близко, точно обнять хотел. Очевидно, мое невинное, с самыми благородными намерениями шествие навстречу с глиняной кружкой

всероссийский самодержавец понял очень дурно. Несколько секунд мы стояли друг против друга.

Дверь по его приказанию была закрыта, и мы были совершенно одни.

— Имеете что сказать мне?—проговорил он довольно отрывисто.

Так как я его появления совершенно не ждал, и оно было так стремительно я, вероятно, не сразу сообразил, что ему ответить и отделался только восклицанием.

„Вам?!“

Но, должно быть, это одно слово вырвалось слишком выразительно.

Он вылетел так же быстро, как влетел. Больше „не встречались“, и все рассказы о его посещениях не более, как легенды. Чего ему надо было, так и не узнал, но слышал, что он остался визитом очень недоволен.

Несколько месяцев, к моему великому удивлению, меня больше не тревожили, что не мало тревожило зато меня. Чего медлят? Самое подходящее, казалось бы, расправиться им летом, в мертвый петербургский сезон. Очевидно, вышли какие-то осложнения, но какие? После падения Качуры каждый раз, когда кто-нибудь проходил мимо камеры, сердце застывало: „на допрос,— думаешь с трепетом,— опять какое-нибудь предательство“...

Прошло лето, прошла осень. Настали дни без света—сплошные сумерки. В полдень без свечи ничего не видно. Граница дня и ночи утеряна. Трусевич не тревожит. Душевные раны начинают понемногу заживать. С неволей свыкаешься.

Первое время всякий стук, всякий шорох с воли поднимает, как вспугнутую птицу. Душа рвется наружу и бьется о тюремные решетки. Все мысли там, на воле.

Это днем, а ночью—побеги. Бесконечные побеги, самые замысловатые, самые фантастические. И все кончается неудачей, и в момент провала, обливаясь потом, с сильно бьющимся сердцем, просыпаешься, чтобы, заснув, снова бежать. Побег преследуют безнадежно арестованных очень долго—целыми годами.

Через два года, когда увиделся со старыми шлис-сельбуржцами и проверил свои впечатления, оказалось, что эти кошмары преследовали их лет по 6—10.

Но постепенно сживаешься. Обретается даже какой-то покой душевный.

Каждый лишний день—ведь это дар судьбы или, вернее, нераспорядительности начальства. Так, никем не тревожимый, дотянул до конца ноября, когда дверь камеры открылась и снова принесли платье: одеваться.

Ведут в ту же допросную комнату, там тот же очаровательный Трусевич. Пардный, торжественный. На столе фолианты: „дело“.

— Дознание по вашему делу закончено и получает дальнейшее направление. Желаете чем дополнить следственный материал?

— Не я наполнял, не я буду дополнять. Заявление **принципиального** характера пришлю на имя прокурора.

Расстались довольно холодно. Теперь, значит, скоро. „Дело получает дальнейшее направление“—это значит на несколько дней в военный суд, а затем—на тот свет. Конец ноября. К рождеству, значит, должны кончить. Надо торопиться с принципиальным заявлением, чтобы попало в обвинительный акт. Все время медлил, так как надеялся, что удастся хоть приблизительно узнать, что у них за материал имеется.

*

Через несколько дней, поздно вечером, уже после проверки, вдруг будят: „Одевайтесь!“ Вводят в квартиру полковника (заведывающего тюрьмой). Навстречу поднимается какой-то господин в черном сюртуке. Жан-дармы уходят, и мы остаемся наедине. Мил, любезен, предупредителен и корректен.

— Я к вам по поручению министра внутренних дел.
--- ??

— Вы, конечно, уже знаете, что дело ваше передано в военный суд, вернее, военно-полевой суд.

Пауза. Постукивает пальцами по столу.

— Можно говорить откровенно? У вас ведь нервы крепкие, не правда-ли?

— Да, пожалуйста.

— Приговор по 279 статье ¹⁹ известный и заранее готовый. Вы ведь знаете. Но я вам должен прямо сказать: правительство не хочет казни, т. е., вернее, охотно пойдет навстречу отмене казни. Выслушайте меня спокойно. Я хорошо знаю, с кем имею дело и далек от мысли предлагать вам какие-нибудь сделки, откровенные показания и проч. Вы свое дело сделали. Пощадите свою жизнь.

— С какого это времени Плеве так тревожится и заботится о жизни революционеров.

— Дело не в этом. Оставим Плеве в стороне. Скажу вам только, что вы напрасно предполагаете в Плеве такую жестокость. Повторяю: правительство готово оставить вам жизнь...

— Под условием?..

— Да, конечно, под условием. Но чисто формального характера. Вы не давали никаких показаний. Это ваше право. Но это придает специфический оттенок вашему отношению к правительству, оттенок, так сказать, пренебрежительный.

— Не смейтесь; это так!

— Повторяю, я не предлагаю вам давать показания. Все, что от вас требуется — подтвердить правильность обвинения, хотя бы в тех пунктах, которые явно несомненны. Признайте себя членом Боевой Организации — больше ничего не требуется, и вам гарантируется отмена смертного приговора. Вы хорошо понимаете, что тут никакой ловушки вам не устраивается: для осуждения вас военным судом вполне достаточно данных и без вашего признания.

— Коротко и ясно! За признание себя членом Боевой Организации вы предлагаете мне такую хорошую плату, как жизнь. Для меня до сегодняшнего дня не ясно было — объявлять себя таковым или нет. Теперь мне ясно: нет!

— Что за странная логика!

— Видите-ли: раз вы даете за это признание такую хорошую плату, значит, это для вас выгодно. А если выгодно для вас, то для нас убыточно — дело просто. Я еще не знаю, в чем тут дело, для чего вам все это нужно. Или, может быть, вам просто неудобна теперь казнь — не знаю. Но зато теперь я знаю, что для нас удобно и выгодно.

Посланник — он оказался вице-директором Макаровым — часа три упорно доказывал, что для „блага родины, которой вы отдаете свою жизнь“, я обязан это сделать и „не лезть в петлю“. Покончили на том, что „если в петлю и не лезть, то и карабкаться из нее нет необходимости“.

...Через два дня поздно вечером та же история. Макаров „в виду близости суда и развязки, считает своим долгом сделать вторичную попытку спасти жизнь“.

— Бросим это! Я не хочу вас оскорблять, — может быть, у вас - то лично никаких задних мыслей и нет. Но ведь вы хорошо понимаете всю безнадежность вашей миссии. Или в самом деле вы так чужды психологии революционера?

Хорошо, я против обыкновения буду с вами откровенен: мы столкнулись с вами при таких исключительных обстоятельствах. Кто вас знает — быть может, вы и в самом деле честный человек — семья, ведь, не без уroda.

Запомните же, чтобы вам впредь в сношениях с революционерами не терять лишнего времени. Вы там, в департаментах, конечно, вполне искренно уверены, что мы идем в революцию так себе: кто—по увлечению, кто—по моде, кто—рассчитывая на безнаказанность, кто—просто не отдавая себе отчета и проч. Вы не понимаете, что взрослый, сознательный человек, порывая со всем прошлым и бросаясь в революцию, продуманно решает вопрос всей своей жизни. Разрывая со старой и входя в новую жизнь — для него вне этой жизни нет ничего. Компромиссы с совестью делались там, в старой жизни. В новой их нет: потому-то в новую и ушел, чтобы избавиться от компромиссов. Ждет ли нас в новой жизни депутатское кресло в парламенте, высылка в Сибирь или виселица — верьте, мы над этим не много думаем, так как себе-то приготавливаем последнее.

Критерием наших действий является одно и только одно — запомните это! — благо и интересы трудового народа, в том, конечно, виде, как мы то понимаем, т. е. благо и интересы революции. Критерий действий правительства — прямо противоположный: все хорошо, что плохо для революции. Мы и вы — два непримиримых лагеря. Общих интересов у нас нет и быть не может.

Интересы наши враждебны и прямо противоположны друг другу. Стало быть, то, что хорошо, что полезно, выгодно для вас—дурно, вредно и невыгодно для нас.

Жизнь из рук Плеве, да и вообще из каких бы то ни было „вражьих“ рук, мы не принимаем.

Есть еще одно обстоятельство.

Я—еврей.

Вы ведь, а равно и те, которые достаточно глупы, чтобы вам верить, твердят, что евреи стараются уходить от опасности, что вследствие трусости избегают виселицы. Хорошо.

Вам будет дано увидеть пример „еврейской трусости“.

Вы говорите, что евреи умеют только бунтовать. Вы увидите, умеют ли они умирать.

Скажите вашему Плеве: торговаться, сговариваться нам не о чем. Пусть он делает свое дело: я свое сделал...

Поздно ночью повели обратно в камеру. В длинном сводчатом коридоре какой-то зловещий, давящий полумрак. Тусклые лампы едва мерцают. Клетки, клетки, клетки... И все под замком...

... Вот и моя клетка. Тихо колыхается пламя свечи, откидывая громадные тени по стенам. Хлопает дверь, гремит замок. Ты снова один со своими думами, своими сомнениями. Что там—на воле? Что обозначают настоячивые убеждения Макарова? Какие козни они опять там строят? Чувствуя себя окруженным со всех сторон ловушками, стараешься следить за каждым своим шагом, за каждым словом.

Ясно, по крайней мере, одно: скоро все кончится. Через пару дней вручат обвинительной акт, потом „суд“. К рождеству все будет готово. Надо и самому подготовиться...

Глава пятая

НА ЕДИНЕ С ЖИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Опять поплыли дни. Томительное ожидание и полная, тревожная неизвестность. Очевидно вышло какое-то осложнение, что-то произошло. Но что? В этой неизвестности прошло слишком два месяца. Потом уже, по выходе из Шлиссельбурга, узнал, что „заминка“ вышла по следующей причине.

В нашем деле никаких данных, собранных самой жандармерией, не было. Имелись только оговоры Григорьева²⁰ и Качуры. По „закону“ политические процессы протекают таким образом: сначала производится жандармское дознание. Последнее время, кажется, это „упростили“. Если по окончании дознания является постановление прокурора судебной палаты о передаче дела в „суд“, то предварительно начинается судебным следователем следствие. Наше дело таким образом должно поступить к следователю.

Но Плеве высказался против этого, так как, вполне естественно, боялся, что следствие не сумеет собрать хотя бы малейшие данные, и наоборот, при очной ставке и перекрестном допросе должны рассыпаться все измышления Григорьева и Качуры, в лживости и нелепости которых, конечно, и само правительство не сомневалось. Выход придуман очень характерный для плевенского периода: решено было следствия не производить, а послать в военный суд одно жандармское дознание.

Но тут вышел маленький конфуз. Должно напомнить, что это происходило в „до-конституционное“ время, когда „суды“ еще не облагали так, как теперь. Суд, получив дознание, ахнул „от озорства Плеве“, как

выразился один из членов суда, и послал все дело обратно, с предложением произвести требуемое законом предварительное следствие. Это-то и послужило причиной появления у меня Макарова.

Судебному следователю, конечно, дела передать нельзя было, так как оно все рассыпалось бы. Чтобы спасти дело, решено было лучше отменить смертный приговор, но получить мое признание в принадлежности к Боевой Организации. Это, во-первых, склонило бы суд принять дело без следствия, в виду наличия признания, а во-вторых, было бы косвенным подтверждением правильности оговоров Григорьева и Качуры в отношении и к другим обвиняемым.

В поисках выхода дело затянулось. Кончилось в конце концов тем, что гг. министры промеж себя переговорили и убедили военный суд принять дело с материалом только одного дознания. Но на это потребовалось время.

4 февраля приносят платье: одеваться. Я думал, что наконец дали свидание и что, быть может, удастся хоть намеком узнать, почему попечительное начальство забыло обо мне. Но ведут не в комнату свиданий (в Петропавловской крепости свидания даются за двумя решетками), а в квартиру заведывающего. Неужели личное свидание дадут?

Открывается дверь, и в первую минуту ничего не понимаешь, что тут делается. Какой-то чрезвычайно парадный генерал, какие-то чины, статские во фраках...

Скоро дело выясняется: это председатель военного суда приехал вручить обвинительный акт; тут же защитники; среди них приглашенный с моего согласия Карабчевский ²¹. Председатель что-то необыкновенно долго и необыкновенно торжественно выясняет, на основании каких „законов“ дело передано военно-полевому

суду, перечисляет все права подсудимых, при чем оказывается, что их необыкновенно много, вплоть до права в течение двадцати четырех часов вызвать свидетелей.

С нетерпением ждешь, когда вся эта комедия кончится и останешься наедине с защитником—единственным живым человеком, не из вражеского стана, имеющим на то право.

После долгих томительных церемоний дверь камеры захлопывается, и вы остаетесь вдвоем. Не считая того третьего, который, конечно, подслушивает у дверей.

— Плеве еще у власти? Жив?

— Да. Но есть большие новости: вы не знаете, объявлена война.

— Война? С кем?

— С Японией ²². Наши крейсера взрываются, мы уже терпим поражения...

— Вторая Крымская кампания ²³. Порт-Артур ²⁴. Севастополь?

— Похоже на то.

— А как страна? Охвачена „патриотическим“ угаром, жаждет сплотиться с „державным вождем“?

— Да не без того, конечно. Но все в значительной степени вздуто и искусственно. Война непопулярна. Никто ее не ждал и никто ее не хочет.

Странно. Тут, в полутемной камере Петропавловской крепости, так ясно сразу стало то, что неясно и туманно рисовалось впереди переживавшим события в живой жизни. Чувствовалось, что надвигается что-то бесконечно грозное, бесконечно тяжелое, бесконечно скорбное, но что оно сыграет для страны роль того громового удара, который разбудит спящих, разорвет и испепелит завесу, скрывающую перед большинством страны истинную суть самодержавного режима. И когда

он обнаружится и станет перед страной в настоящем своем виде, она устыдится и ужаснется перед одной мыслью, во что она верила и на что надеялась...

Долго все разговоры вертелись вокруг развертывающихся событий, в сравнении с которыми наше-то „дело“, т. е. процесс, кажется таким маленьким, незначущим...

...Условились, что я предварительно познакомлюсь с обвинительным актом, а завтра поговорим о деле. От вызова свидетелей со стороны защиты отказался.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ

Обвинительный акт по нашему делу составлялся при особых обстоятельствах и преследовал специальные цели. Предо мною они даже этого не скрывали, так как считали меня человеком „решенным“, который все тайны унесет на тот свет; с таким человеком можно быть откровенным и раскрывать пред ним то, что стараются скрыть пред всяким „не смертным“.

... Убийство Сипягина, по их собственному признанию, произвело на них впечатление грома.

Все растерялись. Страх и растерянность усиливались полной загадочностью и отсутствием всяких следов. Несмотря на то, что для этого дела были направлены все гении департамента полиции, вкуче с Трусевицем, ничего обнаружить не удалось.

... Не будучи в состоянии открыть „корни и нити“, ведущие дознание на нетерпеливые запросы и упреки свыше в неумелости отвечали, что и корней и нитей-то никаких

нет, что все это дело, вообще, не стоящее, что все партии против террора, исключая кучки лиц, не имеющих никаких связей с массой. В подтверждение приводились выдержки из некоторых наиболее „доказательных и вполне правильных“ антитеррористических статей.

...Все старание департамента было тогда направлено на то, чтобы доказать, что террористические акты являются не результатом широко охватившего массы, вследствие правительственных зверств, боевого настроения, которое все более и более должно усиливаться, а результатом злой воли и озорства нескольких лиц, и само собой разумеется, евреев, излавливающих наивных неопытных юнцов. В „сферах“ этот взгляд был сочувственно встречен — аппетит приходит во время еды, невольно явилась мысль, что хорошо бы этот „здоровый взгляд на существо дела“ пустить в общество.

Поручено это было „сих дел мастеру“ — Трусевичу. Обработали и соответственно наставили Григорьева и Качуру, продиктовали достодожные „чистосердечные“ показания и сфабриковали из них обвинительный акт, который предполагалось напечатать в „Правительственном Вестнике“.

...Мнения насчет напечатания обвинительного акта разделились. Еретики говорили, что как бы конфуз не вышел и „разоблачение“ не кончилось тем, что на казенный счет будет напечатана нелегальщина. К этому в конце концов склонились все, и решено было не только не оглашать обвинительного акта, но вообще умолчать о всем деле; в результате — единственный в своем роде финал: не был даже напечатан приговор!

...Ни одно дело, ни один крупный процесс не обходится без предателей. В делах, где впереди виднеется

виселица, повидимому, нельзя добиться, чтобы все одинаково стойко дошли до конца. Но как бы вы теоретически ни знали это, все же ничто не может сравниться с мукой, когда в вашем деле оказывается предатель.

...Но когда после вручения обвинительного акта, я перешел в ведение военного суда и послал заявление, что желаю просмотреть „следственный материал“, последний немедленно был доставлен.

Семь громадных томов! Боги, чего, чего только там не наворочено. Вот уж подлинно—„тут есть все, коль нет обмана“. Даже член суда, показывавший „дело“, не мог удержаться от улыбки и безнадежно махал рукой, когда перелистывал „следственный материал“.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

СКВОЗЬ НЕПРИЯТЕЛЬСКИЙ СТРОЙ

Суд был назначен на 18 февраля. Чтобы не возить взад и вперед из военного суда, заседания были перенесены в помещение окружного суда; а нас решено было перевести в предварилку.

Утром 17-го подали одеваться.

Под сильной охраной вывели за ворота.

Там пять карет. У каждой по офицеру и двум унтерам.

Захлопнули дверцы, опустили шторы и поехали на суд скорый, правый и милостивый.

Приехали в предварилку, которая после крепости показалась раем. Поместили в нижнем этаже, в изолированном коридоре, камера № 25.

Надо готовиться к битве.

...Днем явился помощник Карабчевского Б. Т. Барт (сын Г. А. Лопатина ²⁵), условились относительно завтрашнего дня.

Настал наконец и он — этот долгожданный день. Утром ввалилась целая ватага надзирателей и помощников. Обыскали самым тщательным образом. В коридоре какая-то суета, хлопают двери. Из коридора кричат: „25-й веди“.

— Пожалуйста!

Вывели в коридор, повели мимо совещательных комнат в коридор, соединяющий предварилку с судом.

Десять жандармов в парадной форме, выстроившихся в ряд, несколько офицеров. Ставят между жандармами.

С краю стоит уже Вайценфельд ²⁶ между жандармами бодро, закинув голову назад. Только мы с ним поздоровались — ведут Л. А. Ремянникову. За нее особенно все время болела душа. Это была скромная работница, молча, незаметно готовая отдать свою жизнь делу. Держалась все время стойко и мужественно. Вот и Григорьева ведут. Глаза смотрят в сторону, лицо бледное, тревожное.

Конвой выстраивается. Раздается команда: „Шашки-и вон!“ Раздается лязг шашек, от которого невольно вздрагиваешь. „Напра-аво-о!“ „Ша-аго-ом марш!“

Гремит глухая железная дверь, открывающая ход в узкий темный коридор, ведущий в зал заседаний. Под сводами гулко отдаются многочисленные шаги, звенят шпоры.

Весь громадный коридор наполнен жандармами, полицией и шпионами.

Проходишь точно сквозь неприятельский строй, но пленником себя не чувствуешь.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

МУНДИРНЫЕ ХОЛОДНЫЕ ДУШИ

Конечно, процесс испорчен; но все ж „душа кипит и к бою рвется“. Летишь мысленно туда, в эту залу, где скоро встретишься лицом к лицу с этой державной кликой. Слова, отравленные жгучим ядом народной ненависти, бросишь им в лицо и громко скажешь им то, чего они слушать не хотели, когда мы говорили там, на воле.

Здесь они в наших руках, здесь мы заставим их слушать! Настроение поднимается все выше и выше... На скамью поднимаешься, как на трибуну.

Начинаешь оглядывать зал. Рядом с нами—защита. Против нас на местах присяжных заседателей разместились „чины“.

В зале жандармы, жандармы и жандармы.

Ни одного осмысленного, ни одного вдумчивого лица. Ни сочувствия, ни ненависти, ни злобы. Просто любопытство: вялое, холодное любопытство обывателя.

В душу прокрадываются пустота и уныние. Настроение начинает падать. И это-то враги? С ними-то тут воевать? Словом выяснять нашу правоту?

Перед вами холодные, равнодушные люди, по долгу службы пошедшие на „суд“ и мечтающие только о том, чтобы как можно скорее все это кончилось. Как тут говорить? Перед кем тут говорить?!

Начинается глупейшая, бесконечная военно-юридическая комедия. Председатель, барон Остен-Сакен, священнодействует. „Судьи“ скучают и рисуют лошадок. Прокурор—бессмертный Павлов²⁷—сидит, как изваяние, с опущенными ресницами, но зорко из-под них, как

тигр, следит, чтобы не упустить добычи и во-время наброситься на противника.

Неимоверных усилий требуется, чтобы заставить себя принимать участие в деле. К языку точно гири привешены и с громадным трудом выжимаешь из себя слова. Легко говорить перед друзьями, легко говорить перед сознательными врагами. Но эти мундирные, ходные души—какая это мука перед ними говорить!..

Глава девятая

ИСКОВЕРКАННЫЕ ЖАНДАРМАМИ ЛЮДИ

Все обвинения опирались главным образом на показания Григорьевых и Качуры. Григорьев производил даже на „чинов“ жалкое впечатление изломанного, исковерканного в руках жандармерии человека. Большую часть оговоров, припертый к стене, сейчас же брал обратно и если б не его злой гений-защитник Бобрищев-Пушкин ²⁸, упорно заставлявший его поддерживать свои оговоры, он чистосердечно сознался бы, что все это сплел по глупости, по трусости и под давлением жандармерии.

Более злостной и отвратительной была его жена, Юрковская, все время корчившая из себя какую-то Магдалину ²⁹. Ее упорное старание потопить Л. Ремянникову произвело даже на судей отталкивающее впечатление. Изумительно наглое самообладание и хладнокровие этой женщины: ведь она знала, что одного нашего слова достаточно было, чтобы разрушить все ее рассказы и посадить ее на место Ремянниковой. Но она не даром выросла в революционной семье (отец ее поляк, сосланный за восстание 63-го года ³⁰). Она

знала, что революционеры не платят предателям тем же оружием, и смело давала свои „показания“.

...Офицера Григорьева завлекли, искусственно взвинтили и тем заставили принять участие в террористических актах. Она, Юрковская, из привязанности и любви к своему мужу и из отвращения к насилию вообще, конечно, всячески старалась мешать козням искусителей, пока наконец совершенно не порвала с ними.

...Григорьев с целой группой своих товарищей офицеров был рекомендован, как „сочувствующий“. При ближайшем знакомстве с ними группа эта оказалась совершенно никчемной, типично „офицерской“, и ее забросили.

Григорьев тем временем перебрался в Петербург, в академию. С ним завели сношения, имея в виду использовать его для распространения литературы среди офицеров-академистов! Этим он и занялся. Этим его деятельность ограничивалась.

...Настоящих, деловых сношений с ними больше не поддерживали. Правда, бывал у них некоторое время один господин, который за чаем вел с ними разговоры о разных планах; строили они сообща фантастические нападения на Плеве, вплоть до огораживания улицы, по которой Плеве проезжал, колючей проволокой, но, конечно, ни та, ни другая сторона серьезно этих планов не принимала: это были лишь „мечтания“...

... На суде Григорьев свое предательство объяснил довольно чистосердечно: он был арестован по оговору товарища—офицера Васильева—и привлечен за „участие в военном заговоре“. Желая выкарабкаться и убедить жандармов в искренности своих слов, он решил рассказать им историю своего участия в покушении на Победоносцева и Плеве, предполагая, что за это ему отвечать

не придется, так как, де, это дело прошлое. Мне же это повредить, по его мнению, не могло, так как он считал меня за границей.

Дав первое наивное показание и попав в руки Трусевица, он и нагородил потом 100 листов нелепостей, которых сами жандармы не могли распутать.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ТРАГЕДИЯ НЕСЧАСТНОЙ ДУШИ

Совсем другое впечатление производил Качура. Момент его появления был потрясающий и глубоко захватывающий по своему трагизму.

Он появился в арестантской одежде, под охраной двух жандармов с обнаженными шашками и сразу устался на скамью подсудимых. Казалось, он был поражен тем, что видит нас здесь, на суде. Взор его выражал скорбь и не то сожаление, не то упрек.

Все замерло. Минута — другая прошла в глубоком молчании. Трагедия, разыгрывающаяся в его несчастной душе, казалось, придавила всех. Несколько раз председатель взволнованным голосом пробовал окликнуть его: „Качура! Качура!“ — но тщетно.

Наконец он глубоко вздохнул и спросил: „Что?“

Председатель предлагает ему рассказать все, что он знает по этому делу.

— Я ведь уже вам все сказал, — подавленным голосом отвечает Качура, — разве не достаточно? Спрашивайте, что вам еще нужно!

Павлов начинает ставить вопросы. Многое из своих первоначальных показаний Качура берет назад.

...Но существо оговора и моральный его характер, т. е. что он вовлечен в движение, что его искусственно склонили на террор и проч., он поддерживал на суде.

Поддерживал и то, что теперь он раскаивается и революционеров считает вредными членами общества.

...Впечатление он производил крайне тяжелое. Мысль, очевидно, работала с большим трудом. Трудно сказать, был ли он нормален тогда или это просто крайняя подавленность психики. Что переживал этот человек, так и не удалось узнать. (Уже потом, через два года, когда нас увозили из Шлиссельбурга, кое-что узнали). Но, несомненно, пришлось пережить какую-то бесконечно тяжелую драму, если Качура так низко пал, что открыто заявил о враждебном отношении к революционерам и о том, что его завлекали на террор.

...Он сделал свое дело смело, мужественно. На суде и после суда держал себя необычайно. Целый год поражал жандармов своей бодростью, а под конец все-таки пал, и так низко, низко!

Вот зловещие тайники человеческой души!..

Глава одиннадцатая

ПРОСТОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЛОВО

Процесс тянулся восемь дней, с утра до полуночи, истрепав и измучив всех до крайности. Я был связан по рукам и ногам и отпарировать удары не мог.

...Легко было несколькими штрихами разрушить всю махинацию, созданную Трусевичем и Качурой подписанную — что он, невинный, бессознательный рабочий, был вовлечен и чуть ли не насильно толкнут на террор.

Легко было доказать, как громадно было его, Качуры, влияние в рабочих кругах Екатеринослава, что ему подчинялись, что он поднимал настроение рабочих, а не наоборот. Но тут, во-первых, неизбежно было бы называть имена, места, а во-вторых, из злобы и мести он мог запутать целый ряд своих приятелей—рабочих. Мы решили с Вайценфельдом по мере возможности возражений ему не делать.

Григорьевых легко было вывести на чистую воду и в сущности они этого вполне заслужили, но это все-таки выдало бы их, особенно ее, головой. Мы с Ремянниковой предпочли молчать.

Тяжело и скорбно было на душе: о таком ли процессе я мечтал! Больно давила мысль о товарищах на воле: как они там должны страдать? Страдать тем более, что ведь правды-то о Григорьевых и Качуре они не знают, и естественно, что могут закрасться тяжелые мысли и тревожные сомнения.

Л. Ремянникова и Вайценфельд держались все время мужественно, с большим достоинством; но сама роль их в процессе была такова, что многое они сделать не могли.

На шестой день начались речи. Первой была произнесена речь защитника Григорьева — Бобрещева-Пушкина. Точная копия речи Муравьева²¹ по делу 1 марта²², с примесью характеристики революционного движения, позаимствованной из „Бесов“²³. И странно: несмотря на всю очевидную дрянность и недоброкачественность, несмотря на чисто жандармский стиль, на бессмысленность и лживость обвинений, сыпавшихся на нас, его речь волновала и, кроме гадливого презрения, вызывала еще боль за незаслуженные оскорбления.

Я долго после того думал: что могло этого человека заставить, защищая Григорьева, бросать в нас грязью? Ведь он не мог не знать истинной подкладки дела, не мог не знать, что освещение, данное Григорьевыми, лживо, и, как юрист, не мог же он не ценить корректного нашего отношения к его клиенту, которого мы могли бы потопить вместе с бывшей на свободе Юрковской, если бы только рассказали хотя бы часть того, что ими сделано было. И он знал это, притворялся ничего не знающим и клеветал.

Какая-то невероятная усталость охватила нас всех под конец процесса. Просто физическая усталость. Одна мысль преобладала над всем: скорей бы все это кончалось. Тянуть эту комедию вот уж больше недели нехватало сил... К счастью, дело подвигалось к концу. Кончились прения, начались „последние слова“.

Странное дело: все время зал, наполненный „чинами“, вкупе с великим князем, бессменно просидевшим всю неделю и постоянно сосавшим какие-то леденцы, производил впечатление подавляющее. Для настроения—это было чугунной гирей, тянувшей книзу. И казалось, человеческое слово недоступно и непонятно этим ледяным сердцам.

Но таково уже величие человеческой души — она все же остается человеческой!

Я внимательно следил за залой, когда говорила Л. А. Ремянникова—мне сначала жаль было, что она заговорила с ними искренно, правдиво. И к удивлению своему, почувствовал, что в этих мундирных душах что-то такое зашевелилось.

Речь Л. А. Ремянниковой была проста, безыскусственна и правдива, как проста, безыскусственна и правдива она сама. Это было просто несколько простых слов об обыкновенной жизни русской девушки.

Жизнь эту мы все хорошо знаем. Для нас она так обыденна, что мы друг другу о ней и не рассказываем. Но эти люди, очевидно, от настоящей-то жизни так бесконечно далеки, что для них все это явилось полным откровением. Простое человеческое слово проникло глубоко к ним в душу и произвело потрясающее впечатление.

Конечно, это впечатление нисколько не помешает им в конце концов отправить нас на виселицу „во исполнение служебного долга“.

Но выставить перед ними величие нашего дела, отравить их мысль и совесть сознанием кого и за что они осуждают и казнят, временно заставить их потупить глаза перед отвратительным делом, которому они служат — этого можно достигнуть...

Глава двенадцатая

СУД СОВЕЩАЕТСЯ. СМЕРТНАЯ КАЗНЬ

— Суд удаляется для совещания. Г. пристав, уведите подсудимых!.. — торжественно изрекает председатель.

Это было, кажется, на восьмой день, в 11 часов утра.

Жандармы выстраиваются и нас разводят по камерам.

„Суд совещается“... Что касается меня, то, пожалуй, можно бы и не совещаться. Дело ясно, т. е. не дело, а исход „дела“, и, как естественный результат ясности объективной — ясность субъективная: ясность и спокойствие.

Не зная, сколько они там будут „совещаться“, торопишься привести в порядок свои дела — написать письма. Стараешься перехитрить подсматривающих надзирателей. Кое-как письма нацарапаны.

Уже три часа, а все еще „ совещаются “.

Начинаешь испытывать нетерпение.

Чего они там? Столько времени уже прошло. Спят, что ли?

Темнеет. Прислушиваешься к каждому шороху.

А! Идут...

— На прогулку пожалуйста.

— Только-то? А я думал, более далекую прогулку предложат...

Надзиратель опускает глаза.

Ясный, морозный вечер. На небе ярко играют звезды. Под небом на вышке ходит часовой.

Для „ прогулки “ отведено маленькое огороженное досками пространство шагов пятнадцать длиной и пять шириной, очень напоминающее место для загона скота.

„ С совещаются “... Ну, сегодня-то уж во всяком случае кончат. А потом сколько еще пройдет? Пожалуй, дня три — четыре еще протянется... Дадут свидание?.. Родители бедные, бедные!.. Как-то они там справятся со своим горем. Для них-то ведь это только горе...

Товарищи... Дойдет ли к ним письмо?.. Надо будет...

— Кончайте прогулку!

„ С совещаются “... Прошла поверка. От томительного ожидания мысли принимают какой-то уныло хаотический характер. Скучно!..

Какое странное настроение в ожидании „ приговора “!.. Надо лечь спать! С совещание-то, верно, тоже спит...

Тихо, точно крадучись, отпирают дверь камеры. — „ В суд пожалуйста, вставайте! “

Посоветались...

Обыскивают еще тщательнее, чем в первый раз. Часы бьют полночь. Говорят шопотом. В коридоре полумрак. Лязг шашек, звон шпор, гул шагов.

Наряд полиции и жандармерии усилен. Стоят почти сплошными шпалерами.

В зале пусто. Угрюмо сидит только какой-то жандармский генерал.

Из защиты явилась только молодежь. Лица у всех тревожные: можно думать, что это они ждут приговора.

— Суд идет!

У всех „судей“ истомленные, измученные лица... „Вешать-то, видно, не сладко“—проносится злорадная мысль. Даже военный прокурор—знаменитый Павлов—отсутствует, прислав своего помощника. Председатель Остен-Сакен бледен, волосы взъерошены.

Читается приговор. Вся зала стоит.

Взволнованным, прерывающимся голосом председатель выбрасывает: каторжные работы на 4 года, смертная казнь, арестантские роты, смертная казнь, каторжные работы на 10 лет...

— Приговор в окончательной форме будет объявлен послезавтра.

— Господин пристав, уведите подсудимых.

Наскоро прощаемся с защитой.

Ведут обратно в камеры.

Чины полиции и жандармерии с каким-то жутким, тревожным любопытством смотрят на нас. Всем им как-то не по себе, точно в чем-то виноваты...

Камера. Стоишь в недоумении. Так это-то и есть смертный приговор?! Как просто! Почему же нет никаких таких особенных чувств? Или они еще будут?

Наскоро раздеваешься и ложишься на койку.

Только заснул, — сквозь сон слышишь, как опять открывается дверь камеры и кто-то будит тебя.

— Что такое, в чем дело?

— Приказано одеваться, сейчас поедете.

— Ночью-то! Куда же поедем?

— Не могу знать—приказано приготовиться.

„Неужели сейчас на казнь повезут? Или, может быть, нечто худшее?“

Вывели на двор, усадили в карету и под охраной жандармов повезли. Куда? Неизвестно!

Через минут двадцать карета остановилась,—оказывается, это привезли обратно в крепость. „Ну, значит, не на пытку“,—облегченно думаешь и, как к себе в дом идешь в старую камеру.

По дороге встречает заспанный полковник — заведующий.

— Ну, что, чем кончилось?—тревожно спрашивает он.

— Смертная казнь! — выкрикиваю нарочно громче, чтобы жандармы слышали.

У вояки лицо вытягивается и делается такое испуганное, что невольно вызывает улыбку.

Теперь спать! А там видно будет! Лег, но заснуть не дают. Слышен какой-то беззвучный шопот (так „беззвучно“ шептать умеют только жандармы-тюремщики). Потом через каждые несколько минут продолжительное и внимательное разглядывание, в глазок.

Ничто так не волнует, как это надоедливое заглядывание, невыносимое даже в обычное время. Очевидно, приказано было тщательно следить за „приговоренными“. Как тут избавиться от этого? Даю, звонок, является дежурный.

— Слушайте, голубчик! Я приговорен к смертной казни, очень устал, спать до смерти хочется, но ваше подглядывание в глазок все не дает заснуть. Конечно, вы не виноваты—вам приказали. Но подумайте сами—чего вам глядеть-то? Видите, я спокоен, ничего над собою не сделаю, только и всего, что выплюсь, а?

Жандарм попался хороший. Растерялся, бедный, не знает, что делать.

— Помилуйте, господин, сами хорошо понимаем! Что будешь делать? Служба такая проклятая!

На следующее утро, только приготовился писать письма—открывается дверь в камеру: посланник от министра внутренних дел, вице-директор Макаров!

— ?!

— Приговор вынесен; неужели вы так и думаете итти на виселицу?

— То-есть?

— Да очень просто! Согласитесь сами, какой же смысл лезть в петлю? Ну, сделали там свое дело, провели, как вам хотелось, процесс, выполнили, так сказать, свой долг. Дальше что же?

— А что?

— Да ведь вы в загробную жизнь, надеюсь, не верите, какой же смысл умирать? Выполните формальность! Подумайте: простая ведь формальность! Ну, там прошение, заявление, называйте, как хотите. Что в этом можно дурного найти? И от вас не требуется никаких признаний, никаких раскаяний. Ведь вы обращаетесь не к правительству, а к верховной власти. А верховная власть, как хотите, великое дело...

— Несомненно. Для вас всех, купающихся в лучах этой власти, она—великое дело, так как дает вам великие выгоды. Но для народа, для нас... в оценке мы несколько расходимся. Но дело-то, собственно, не в этом. Ведь у нас разговор был уже. За это время ничего не изменилось. Какие данные для изменения решения?

— Тогда требовались показания, теперь речь идет только о прошении.

— Только? А вам неизвестно, что у нас подача прошения о помиловании считается самым позорным преступлением? Бросим это!

— Вы меня извините, но я по человечеству (!) не могу оставить это дело в таком положении. Я знаю, меня вы не послушаетесь, я вас должен предупредить: решено вызвать ваших родных, поручить им склонить вас.

— Вот что! Говорю вам и передайте кому нужно: я безусловно запрещаю вмешивать в это дело родных. Это будет уже настоящим зверством—ведь вы хорошо знаете, что ничего не добьетесь, зачем же причинять им еще лишние страдания? Если вы честный человек—вы должны родных оставить в стороне.

В Макарове как-будто что-то шевельнулось.

— Хорошо, я постараюсь выполнить ваше желание,—глухо проговорил он и вышел из камеры. (Против ожидания, Макаров выполнил свое обещание—с родными не говорил).

На завтра опять повезли в предварилку. Уже поздно вечером, в субботу, снова выстроили в коридоре и повели для слушания приговора в окончательной форме.

В зале никого не было, кроме защиты. Прочли пространный приговор.

— Господин пристав, уведите осужденных...

— Последний раз!

Больше уже в этом зале не придется побывать.

Распрощались с защитой, распрощался с товарищами по процессу. В холодном сводчатом коридоре тускло и уныло. Тускло и уныло на душе.

Давит одиночество: „на миру и смерть красна“... Да, на миру красна! Но как сера она здесь, на задворках, вдали от всего живого! Как мучительно хочется видеть близкое лицо! Один хоть сочувственный взгляд—как

он поднял бы настроение! Как завидуешь старым бойцам, имевшим счастье умирать открыто, оставляя одним любовь, другим кидая презрение! А теперь!..

Ночью выведут на двор. Палач, несколько жандармов... Задушат и бросят тут же в яму...

Горькая судьба русского революционера! Во время „работы“, как травленный зверь преследуем жандармами. В тюрьме охраняем жандармами. На следствии допрашиваем жандармами, на суде окружен жандармами, на эшафоте казнен жандармами и последний вздох, последний привет товарищам-бойцам и несчастной родине перехватывается жандармами.

Усталым, тоскливым взором скользишь по обнаженным шашкам и бесконечным мундирам и перед тобой поднимается, все больше и больше разрастаясь, как бы символ несчастий страны — громадных размеров жандарм. Он все увеличивается, увеличивается, необъятные лапы охватывают бьющуюся и стонущую Россию. Над разросшимся до невероятных размеров жандармом — лозунг российского исконного начала: „все для жандармов и все посредством жандармов“.

Глава тринадцатая

ОТ СМЕРТИ К ЖИЗНИ

Были первые числа марта. Повеяло теплом. Началась оттепель. Днем солнце сильно грело, и птички весело чирикали за железными решетками.

Сколько придется ждать, пока закончат все формальности?

Пожалуй, несколько дней еще пройдет,

Но как хорошо, что теперь уже больше не будут таскать по судам! Да и тревожить-то уже больше, по-видимому, никто не будет.

Кончился суд вражеский.

Счеты с жизнью кончены и кончены хорошо!

Теперь остается выполнить последнее: спокойно по этому счету уплатить.

Стараешься свыкнуться с внешней стороной. Рисуешь себе картину казни. И каждый раз дрожь проходит по телу и становится нестерпимо жутко, когда доходишь до момента выбрасывания палачом табуретки и сжимания горла веревкой.

Изучаешь литературу предмета.

Оказывается, если петля приходится неудачно, смерть наступает очень медленно. Многие зависит от силы падения тела. „Наилучший“ способ ирландский: там повешенного бросают с высоты трех—четырёх сажень и смерть наступает почти моментально от разрыва позвоночника.

Какой-то немецкий профессор даже изобрел формулу, как лучше вешать. На каждый фунт веса что-то около дюйма веревки известной толщины. Впрочем, добавляет гуманный ученый застенка, и это не всегда гарантирует моментальную смерть, так как весьма часто попадают аномалии в крепости связок позвоночника. Теперь, вот вопрос, есть ли у тебя аномалия или нет у тебя аномалии?

С завистью думаешь о расстрелянии.

Вот хорошая смерть!

Стрелять-то уж хорошо постреляют, но повесить русские жандармы, конечно, толком не сумеют, и какая-нибудь заминка уж непременно выйдет. (Позже в Шлиссельбурге узнал, что это недоверие к русским

жандармам вполне правильно: в России вешают отвратительно и зверски. Редко казнь протекает без каких-нибудь мучительных осложнений; жертва бьется в петле иногда минут 10—20!

Степана Балмашева³⁴ палач держал за ноги, так как последние упирались в помост эшафота.

При казни Ивана Каляева³⁵ произошла вследствие неумелости и небрежности такая ужасная сцена: палач не сумел как следует накинуть петлю, и Каляев так долго бился в судорогах, что присутствовавший при этом начальник штаба корпуса жандармов барон Медем грозил палачу расстрелом, если не прекратит муки повешенного.

Гершкович³⁶ был вынут из петли через 30 минут, и сердце еще слабо билось.

Постоянная мысль о казни и обдумывание всех деталей в конце концов приучают тебя и к внешней стороне...

Бесконечное ожидание тревожит и томит.

Когда же наконец?

В крепостной библиотеке раздобыл Щедрина³⁷, и на нем мысль отдыхала. Какой бесконечный источник бодрости, любви и ненависти. Главное — жгучей, непримиримой, проникающей все существо ненависти к старому строю и беспредельной любви к страдальцу этого строя — трудовому народу. И непримиримость, хвалебный гимн непримиримой борьбе.

Прошла неделя, другая.

Все формальности кончены. Приговор находится у Плеве, и каждую минуту может быть отдан на исполнение.

Чего они медлят?

Казнь, конечно, состоится в Шлиссельбурге.

Когда туда повезут?

Вероятно, вечером.

И каждый вечер после поверки ждешь: вот-вот откроется дверь, принесут платье: пожалуйста!

И долго, долго лежишь так на койке, трепетно прислушиваясь к малейшему шороху—не идут ли?

Часто раздаются шаги, часто подходят к двери,—но все мимо.

Под конец засыпаешь тревожным, от малейшего шума прерывающимся сном.

. Под утро с удивлением смотришь — еще нет? Ну, значит, сегодня, наверное...

Прошло три недели со времени приговора.

Была середина шестой недели поста. На страстной и святой вешать нельзя. Стало быть, на этой шестой должны во что бы то ни стало кончить. По середине недели пришелся какой-то праздник, словом, выходило так, что 16 марта я считал последним днем пребывания в Петропавловской по моим расчетам; если казнят теперь, то это должно быть в эту ночь с 16 на 17-е.

Настал вечер.

Осмотрел, в порядке ли морфий. (Перед арестом я был в полной уверенности, что после приговора будут пытаться. Не зная наперед, до какого предела сумеешь держаться, обеспечил себя достаточной дозой морфия, которую удалось спасти от всех утонченных обысков). Настроился на соответствующий лад, жду.

Прошла поверка. В крепости стало тихо, как бывает только в тюрьме. Был десятый час вечера. Чутко прислушиваешься, нет ли какого движения.

Среди мертвой тишины в коридоре вдруг слышен гул шагов. Шаги быстрые, властные, ясно приближающиеся к моей камере. У самой двери слышен голос: „Вот сюда, ваше превосходительство!“

Гремит открываемый засов, за ним замок, широко распахивается дверь. Быстро входит полковник, за ним председатель суда Остен-Сакен. В коридоре видны жандармы. „При чем тут председатель суда? — проносится в голове. — Неужели он будет присутствовать при казни?..“

— Здравствуйте, господин Гершуни, — раздается его мягкий бас. Он крайне взволнован, грудь высоко дышит. Лицо какое-то особенное. Он подошел близко, близко и каким-то торжественным тоном говорит:

— Я привез вам высочайшую милость! Жизнь вам дарована!

Слова эти врезались в память. Тогда — точно ножом полоснули. Мне хотелось оборвать его, но у него был такой непритворно блаженный вид, он так искренно был проникнут величием своей миссии, так считал себя посланником неба, несущим весть избавления, что у меня язык не повернулся сказать ему дерзость.

— Я об этом не просил, вы это знаете? — только спросил я.

— Да, я знаю.

Он вышел.

Несколько секунд я простоял без движения. Потом, как стоял у койки, тихо, незаметно для себя опустился на нее.

Все тело начало дрожать. Сначала слабо, постепенно все сильнее, сильнее. Руки так дрожали, что с невероятной силой впились в одеяло. Зубы выбивали дробь. Весь похолодел, затем сразу облился холодным потом. Хорошо помню: мыслей никаких в голове не было.

Так в каком-то странно подавленном состоянии прошло, вероятно, с полчаса. Весь как-будто застыл и окаменел.

Чувствовалась такая разбитость и слабость, что, не смотря на невероятную усталость, как-будто не было сил

лечь на койку, на которой я сидел безжизненной массой. Холод сменился жаром. Все тело буквально горело. Легкое тюремное одеяло казалось нестерпимой тяжестью. Во рту мучительная сухость. Всю ночь пролежал с открытыми глазами, с каким-то диким вихрем мыслей в голове.

Это была вторая ночь, проведенная без сна: первая — после оговора Качуры.

Сразу не охватывалось все значение происшедшего. Чувствовалась какая-то беспомощность, неподготовленность к чему-то большому, большому. Образовалась какая-то огромная пустота.

...Но... жизнь получена, „дарована“, надо какое-нибудь употребление из нее делать!

Глава четырнадцатая

ВМЕСТО КАЗНИ ПЫТАЮТ

На утро сияющий, лучезарный является полковник (заведующий тюрьмой) поздравлять.

— Вот что, полковник, если вы кому действительно хотите доставить радость этим известием — протелефонируйте брату, а то они об этом только через три дня узнают.

К моему удивлению, комендант разрешил такое „нарушение закона“, и родные по телефону были об этом извещены.

Начинаешь заново налаживать жизнь к жизни. Если бы новорожденный все сознавал и мыслил, он, вероятно, переживал бы нечто соответствующее.

Но радости жизни не было. Было одно обстоятельство, заставлявшее сильно колебаться в оценке полученного „дара“.

Тогда к казням Россия еще не привыкла. Казнь всех давила, всех волновала, перед всеми стояла, как живой укор. И всем бывало стыдно. Стыдно правительству, совершавшему казнь, стыдно обществу, допускаящему казнь и сидевшему спокойно, когда другие гибли на эшафоте. Труп казненного лежал пропастью между обществом и правительством. На последнем горела печать палача, оно вызывало к себе ненависть, презрение и отвращение.

Но вот казнь отменяется, „даруется“ жизнь, и вся тревожная атмосфера разряжается.

Все начинают себя чувствовать легко. Куда-то далеко-далеко отлетает сознание, что ведь русское правительство осталось тем же, чем было, что ни один грех не искуплен, что ничего тут не произошло такого, что могло бы смягчить отношение к этому правительству.

...Жизнь досталась в такой момент, когда все внутри тебя кричало, что близок час спасения России, что тебе это спасение доведется увидеть своими собственными глазами. Война только началась, а уже перед страной открылись зловещие язвы старого строя, которые народу приходится поливать своею кровью. И то, что раньше для большинства было скрыто и ясно было только немногим, теперь обнаружилось и ясно стало всем.

И даже этот столп, главный кит, на котором спала убаюканная совесть народной массы — мощь и непобедимость российского оружия — этот мистический Молох²⁸, которому страна безропотно отдавала все, вплоть до своей крови, и он зашатался, и он разбился вдребезги при первом же испытании...

Прошло недели три. Давались свидания и даже личные, а не через решетку. Начал запасаться книгами, располагаясь „почитать“. Дышалось легко.

Казалось, неусыпное начальство о тебе забыло— величайшее благо, какое только заключенный может желать для себя.

Со дня на день ждал перевода в Шлиссельбург.

Как вдруг, в первых числах апреля, полковник, краснея и конфузясь, показывает „бумагу“. Плеве распорядился „отобрать“. Что? Все! Свидания, переписку, письменные принадлежности, книги... больше отбирать нечего.

Отбрали—и сразу точно в какую-то пропасть погрузился. Трудно передать, какое это лишение—отсутствие книг. Со всем можно мириться, ко всему можно привыкнуть: к одиночеству, отсутствию прогулок, свиданий, переписки, к полной оторванности от живого мира, к темному помещению, к отвратительной пище, ко всему, ко всему, пока остается какое-нибудь занятие, какой-нибудь интерес в жизни. Для человека мало-мальски интеллигентного наибольший интерес, конечно, создает книга. Пока есть книга—есть жизнь. Своеобразная, одинокая, но все же жизнь.

Но когда вас оставляют в четырех стенах, и оставляют не временно, а навсегда, когда, кроме этих четырех стен, вы ничего не видите, никаких впечатлений не получаете, когда в течение целого дня вашей мысли не за что ухватиться, когда вы не можете себе сказать: вот, я в таком-то часу начну делать то-то, когда ваши мысли фиксируются вокруг одного: что тут делать?

Как жить без всякого дела?

И ничто не может отвлечь вашей мысли в другую сторону— вы через несколько дней начинаете уже чувствовать, что у вас в голове точно жуки ползают. Страшно не то, что вы этот день сидите без дела. Страшна мысль постоянная, неотвязная, что ведь все время будет так.

Вас бессменно охватывает ужас, что ведь за сегодняшним днем последует такой же завтрашний, за завтрашним — такой же послезавтрашний, и так без конца.

Это именно и есть то, что выражено в библейском проклятии и что может быть понято только жертвами русского режима: „И проклянет жизнь твою господь бог твой: и встанешь ты поутру и будешь молить: „о, если бы настал вечер“, а вечером ты будешь молить: „о, если бы настало утро“.

В этом все содержание жизни, на которую обречен человек, лишенный в одиночном заключении книг и физического труда. Проходит тусклый, томительный, давящий день. С трудом дожидаясь сумерек.

Бросаешься на койку. Сон был бы спасителем. Но сна нет. Тело и мозг целый день бездействовали и во сне не нуждаются.

В кошмарной, тяжелой полудремоте кое-как проходит ночь. В час уже светло, и точно вечность тянется дразнящее белое петербургское утро.

А утром с тоской и отчаянием думаешь: вот, опять целый день надо прожить! Как? Как?! Чем наполнить пустое пространство, громадное пространство в двадцать четыре часа?!

Лишение книг—это самая утонченная, самая дьявольская пытка. Долго вряд ли безнаказанно можно ее переносить. Разрушение психики неизбежно.

Но как это ни странно, и тут есть своя хорошая сторона. Для заключенного, конечно, совершенно ясна вся бессмысленность этой меры даже с точки зрения правительственного „закона“. Смысл только один: бесконечная злоба правительства, желание выместить над связанным врагом свою ненависть, желание сломить его волю и заставить просить пощады.

Результаты получаются, конечно, прямо противоположные. В душе поднимается какая-то дикая ненависть и гадливое презрение к этому озверевшему чудищу, тут, в этих мелочах, раскрывающему перед тобой свое нутро. Твое прежнее отношение не только не колеблется, не смягчается, но, наоборот, укрепляется и обостряется. С какой-то злобной радостью теребишь свои раны, созерцаешь эту беспросветную мрачную жизнь и со жгучим злорадством скрежещешь зубами: „А, вы хотите сломить своими пытками? Хорошо же, посмотрим, кто кого сломит?..“

Тяжело, мучительно! Но то, что ты это тяжелое и мучительное переносишь и не боишься пасть, облегчает муки и помогает выносить это, казалось бы, невыносимое состояние.

И какое-то бешеное наслаждение и глубокое удовлетворение испытываешь при сознании, что тебя пытаются, а дух твой еще сильнее закаляется.

И вспоминаются невольно стихи шлиссельбуржца Морозова ³⁹:

И в тюремной глуши,
Где так долги года,
Не сломить никогда
Нашей вольной души!

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

В ТОМИТЕЛЬНОМ ОЖИДАНИИ

Потянулись дни, недели, месяцы. К июню крепость почти опустела. Осталось человек семь—восемь, так что прогулки кончались в десять часов утра. В душу закрадывается тревога. Что это значит? Не перестало же пра-

вительство добровольно арестовывать? Значит, борьба идет на понижение? Патриотический угар захватил массы, и революционеры вынуждены временно сойти с арены борьбы? Неужели Россия одерживает победы?.. Узнать что-либо невозможно, и дни текут серые, унылые, беспросветные.

— Почему не увозят в Шлиссельбург? Неужели так здесь будут держать, в 46-м номере? Или Плеве затевает что-нибудь такое, чего и придумать не догадаешься?

Тем временем — пришла беда, открывая ворота — нога разболелась настолько, что в течение месяца не мог двинуться с койки. В Киеве во время заковки в кандалы неосторожно ударили молотком по пальцу ноги. Вероятно, произошел маленький кровоподтек и осколок ногтя врезался в палец. Кандалы не снимались, так что дня четыре нельзя было видеть, что там произошло. По прибытии в крепость оказалась маленькая опухоль, но так как на тот свет пешком не ходят, то это и не особенно тревожило меня. К доктору обращаться было неловко: человека вешать собираются, а он палец вздумал лечить. Так прошел год.

Когда лишили книг и я от безделья целый день, как зверь в клетке, заходил по камере, палец дал себя знать сильным и крайне мучительным воспалением... так что и на прогулки не выходил. Единственно, что спасало от совершенно нестерпимого однообразия — это голуби и воробушки. С ними так подружились, что как только бывало засвистишь, слетаются со всех сторон, садятся на голову, на плечи, цепляются за грудь, бороду и пр.

В конце июля крепость опять начала наполняться. (Так как я всегда гулял последним, а прогулки там по четверть часа, начиная с восьми утра, то всегда имел возможность знать число содержащихся). Стало быть,

волна снова поднимается -- думаешь с облегчением -- и рад вновь прибывающим свидетелям, показывающим рост революции.

29 июля, часу в третьем дня вдруг загремела пушка. Салюты в царские дни обыкновенно производятся часов в двенадцать. Что случилось? Начинаешь считать выстрелы: 33... 75... 101... Пушка продолжает греметь! Самый большой салют 101, а тут им конца нет. С замиранием насчитал около трехсот. Первая мысль, от которой даже весь похолодел: одержали какую-нибудь блестящую победу! Но такую блестящую, что, начав палить, от радости остановиться не могут.

И чем больше гремели пушечные выстрелы, от которых дрожали стены тюрьмы, тем горестнее и мрачнее становилось на душе: ведь что бы там ни было, раз у „них“ великая радость, значит, у страны великое горе. Чутко прислушиваешься, что делается в коридоре.

Часами простаиваешь, приложив ухо к железной двери -- быть может, схватишь хоть слово, хоть звук, который даст какое-нибудь указание. Заметна суета, заметно, что произошло что-то неожиданное, но, кроме „беззвучного“ шопота, еще беззвучнее, чем когда-либо, ничего ухватить не удастся.

Потом настала какая-то мертвая, подавляющая тишина. Лежишь на койке и рисуешь себе, как вот в каждой камере лежит с такими же трепетными, тревожными мыслями, мучаясь над вопросом, над чем „они“ ликут, и что нет возможности узнать об этом.

Помню, это было в пятницу. В субботу должна была быть баня. Утренний кипяток для чая разносят в семь часов, а полотенце, которое на ночь убирается, несколько раньше.

Куранты бьют семь, бьют половину восьмого, бьют восемь — никого нет, только в коридоре какой-то тревожный шопот и беготня. Только в девять часов торопливо начали разносить кипяток, белье для бани и пр. Лица жандармов, истомленные, как после похмелья. Стало быть, событие такое радостное, что всю ночь пропьянствовали. Но что? А может быть, только наследник родился?

Возвращаюсь из бани — в камере полковник. Это невероятный формалист, настоящий строевик, но все время относился очень хорошо, а после осуждения особенно. Физиономия сияющая, блаженная. Видно, хвачено было солидно. „Вот бы у него выпытать“, мелькает соблазнительная мысль.

— Что у вас там, пороху девать некуда, что вчера целый день палили?

— А по какому случаю палили, как вы думаете? — лукаво подмигивая одним глазом, спрашивает он.

Скажет или не скажет? Пожалуй, соврет?

— Да наследник родился, ясное дело, — огорашиваешь его, а сам ждешь, вот сейчас с гордостью скажет: что вы! Побе-е-е-еду одержали! Вот что!

— Верно! Однако вы догадливы.

— А знаете, я уже было думать начал: уж не победу ли, думаю, одержали?

Полковник только безнадежно махнул рукой..

Недели через две, после крещения наследника, опять является торжествующий.

— Великие милости по манифесту получили, полковник?

— Мы-то ничего не получили, а вот для вашего брата там много чего есть.

— Ну уж как-будто бы так много?

— Очень много. Коменданту крайне хочется, чтобы вам дали прочесть манифест, но сами, знаете, не решаемся, придется снестись с департаментом полиции.

— Да, уже говорите, конституцию дали под поручительством Плева, что ли?..

Через пару дней неожиданный гость: Макаров! Явился, оказывается, поздравить: завтра увезут в Шлиссельбург. От радости чуть не бросился ему на шею. Пошел потом рассказывать о великих милостях: выкупные платежи отменили, телесные наказания отменили, политическим сроки сократили, словом: рай! ⁴⁰

— И телесные наказания отменили? Так что отныне уж драть по закону нельзя?

Старался выпытать о войне — ничего не удалось добиться. Видно было только: „хвастать нечем“.

Завтра в Шлиссельбург! Наконец-то! Радость такая точно объявили, что завтра на волю выпустят. Теперь по крайней мере узнаю, что там ждет тебя. (Потом узнал почему это наконец решили отправить. Во-первых, оказывается, к тому времени попушением промысла преклились дни приснопамятного Плева. Во-вторых, если бы меня оставили здесь, то по манифесту пришлось бы мне срок сократить и из бессрочного перевести в четырнадцатилетнего; у нас единственное место, изъятое от „действий“ манифестов—это Шлиссельбург. Там по „закону“ манифесты не применяются, исключая особых высочайших постановлений по представлению министра).

Считаешь минуты: вот повезут! Проходит день, проходят два — никаких распоряжений! „Опять какие-нибудь перемены“, — думаешь с ужасом. Через пару дней является полковник и говорит, что завтра повезут — так сообщили, но бумаги еще нет. Проходит завтра — опять ничего!

Прошло еще несколько дней. Приносят платье и все вещи: приказано сдать на руки, очевидно, сегодня увезут. Опять идет день за днем --ничего нет! В общем в таком томительном ожидании прошло около трех недель. Даже жандармы и те негодовали -- чистое безобразие! Для них человек -- все одно, что дерево!

Наконец 1 сентября, часа в четыре ночи, будят: пожалуйста, приехали! Вещи давным-давно уложены.

Наскоро одеваешься, как бы боясь, чтобы опять не вышло какой задержки.

Идут.

— Ну, прощай, 46-й номер! Больше-то уж не увидимся.

Тепло распрощался с жандармами, с которыми как-то сжился за это время. Прошли сквозь строй солдат.

У ворот карета. Офицер, два унтера. „Трогай!“

Пять часов. Ранний рассвет сентябрьского утра. Подъезжаем к набережной у Дворцового моста. Там стоит казенный пароход. Жандармы подхватывают под руки и по узкому трапу вводят в нижнюю каюту.

Наскоро бросаешь последний взгляд на Петербург, на Петропавловскую крепость, на выстроившиеся против нее дворцы.

Где-то слышен гудок.

Прощай! Прощай!..

Придется ли еще когда-нибудь тебя увидеть, несчастная столица несчастной страны?..

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ШЛИССЕЛЬБУРГ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

БЕЗУМНОЕ РЫДАНИЕ И БЕЗУМНЫЙ СМЕХ

Маленькая каютка казенного парохода. У дверей жандармы. Под мерный шум волны невольно—картина за картиной—встает прошлое этого мрачного застенка самодержавия.

Шлиссельбург был учрежден для наиболее „тяжких государственных преступников“ в царствование Александра III ⁴¹, Толстого ⁴² и Плеве. Имелось в виду заменять им смертную казнь. Но так заменять, чтобы правительство в убытке не было. Другими словами—обзавестись достаточно вместительным Алексеевским равелином ⁴³, где в первые же два года больше половины умерло, а остальные лежали безнадежно больными и разбитыми.

В октябре месяце 1884 года, глубокой ночью от Петропавловской крепости отплыла выкрашенная в черный цвет баржа, разделенная на маленькие клеточки. По клеткам развели закованных в кандалы „государственных преступников“, в том числе Л. А. Волкенштейн ⁴⁴ и В. Н. Фигнер ⁴⁵. Баржа доставила их на обитаемый только жандармами островок; из клеток баржи они были переведены в клетки тюрьмы.

Полное одиночество. Прогулки по четверть часа. Ни книг, ни физического труда. Перестукивание запрещается и строго преследуется. Пища скверная: каша с песком и черный хлеб с песком. Ни свиданий, ни переписки.

И так на всю жизнь. Но долго ли может тянуться такая жизнь? Не лучше ли погибнуть в борьбе, чем разлагаться заживо?

Среди заключенных находились известные революционеры Минаков ⁴⁶ и Мышкин ⁴⁷, перевезенные с Карийской каторги за побег. Первым открывает борьбу Минаков. Он заявляет товарищам, что нанесет оскорбление доктору, его будут судить и на суде он расскажет про невозможный режим. Россия и Европа узнают и вмешаются в жизнь пленников самодержавия.

На следующий день Минаков выполнил свое решение. На него набросились жандармы, увели его в старую тюрьму и больше его товарищи не видали. Узнали, что Минаков добился суда, но суда российского: приехали два офицера, спросили, как зовут, и когда он заговорил о том, почему он оскорбил доктора, его прервали замечанием, что это „суда не касается“. Под утро его расстреляли.

Шли дни. Мучительные, безотрадные, тяжелые. Через несколько месяцев Мышкин решает: Минакова нет—я пойду за ним; быть может, это поможет.

На вечерней поверке Мышкин бросает тарелкой в зрителя. На него набрасываются жандармы и уводят в старую тюрьму. Больше его не видели.

Вскоре узнали, что его постигла та же участь, что и Минакова: приехали два офицера, спросили, как зовут; говорить не дали. Под утро расстреляли.

Среди ужаса одиночества, мрачных мыслей и тревог за товарищей решили испытать другой путь борьбы: добиться улучшения режима или заморить себя голодом.

Тюрьма перестала есть.

На пятый день начались болезни. Разбитые, ослабленные, пластом лежат одинокие на своих койках.

Прошло девять дней. Когда у заключенных не было уже сил бороться, начальство заявило, что если не начнут принимать пищу, доктор будет кормить искусственно. Заключенные сдались.

Шли дни, месяцы, годы. Мрачная тишина прерывалась то там, то здесь раздававшимся то рыданием, то смехом.

То были безумные рыдания и безумный смех сошедших с ума товарищей.

Ночью сквозь тревожную полудремоту, с бьющимся от тяжелого предчувствия сердцем, заключенные прислушивались к неясному шуму, поднимавшемуся от поры до времени в коридоре. Слышались заглушаемые шаги, порывистый шопот; что-то выносилось из камер.

Это жандармы выносили быстро сходявших в могилу борцов. В первые же два года их погибло двенадцать человек. (Минаков, Клименко ⁴, Тихонович ⁵, Мышкин, Малавский ⁶, Буцевич ⁷, Долгушин ⁸, Златопольский ⁹, Кобылянский ¹⁰, Игнат Иванов ¹¹, Исаев ¹², Немоловский ¹³).

Борьба — самая жгучая, самая острая, самая непримиримая, почти не прекращалась. Пускались в ход все способы. На головы заключенных сыпались бесконечные наказания, но тюрьма боролась до последних сил.

Правительство не сдавалось. Двенадцать трупов в первые же два года и трое сошедших с ума не смущали все милостивейшего самодержавия. Через три года упорной, но безрезультатной почти борьбы один из заключенных, Грачевский ¹⁴, заявил, что он пойдет по пути Мышкина и Минакова — быть может, это теперь поможет.

Жандармы донесли, Грачевского насильно перевели в старую тюрьму и никто из начальства к нему не являлся. Видя, что путь отрезан, он решает покончить

с собой. Но лукавое начальство зорко следит за ним, отнимая возможность выполнить задуманное самоубийство. Грачевский притворился успокоившимся.

Через несколько недель смотритель, который держал ключи у себя, пошел в гости.

Дежурившие у камеры жандармы занялись своим делом.

Грачевский воспользовался моментом, ухитрился снять высоко прикрепленную лампу, облил себя и койку керосином и зажег. Яркое пламя вызвало тревогу, но в камеру нельзя было проникнуть. Пока явился смотритель, тело Грачевского превратилось в сплошную обуглившуюся, но еще живую массу.

Через три часа невероятных страданий Грачевский умер.

Казалось стоны сгоревшего Грачевского долетели до каменных сердец петербургских самодержцев. Оттуда дан был приказ „смягчить“ положение заключенных. Смягчение выразилось в том, что в дворике, где заключенные гуляли, насыпали песку, поставили лопаты и разрешили пересыпать песок с одного места на другое. Выдали кое-какие старые, никуда не годные книги. Как ни ничтожны были результаты, важно было то, что правительство било отбой. Упорная борьба еще продолжалась, но первая победа была уже одержана.

В 1890 году в Шлиссельбург привезли Софию Гинсбург⁵⁹. Ее поместили изолированно, в старую тюрьму. Через несколько недель она перерезала себе артерию и, когда жандармы явились к ней в камеру, она плавала мертвая в крови. Это была последняя кровь, принесенная в жертву шлиссельбургскому деспотизму.

С середины девяностых годов начинается улучшение режима. Царское правительство как-будто устало тер-

зять свои жертвы. У тигра как-будто притупились зубы. Но это только так казалось заключенным.

Причины смягчения режима на самом деле лежали не в уменьшении жестокости.

В девяностых годах, как известно, революционное движение временно замерло. Тюремь стояли пустыми. „Важных“ преступников совсем не было. С 1890 года в Шлиссельбург никого не заключали и дел таких— „Шлиссельбурга достойных“—не предвиделось и в будущем. Между тем из 48 заключенных двадцать к тому времени уже погибло, трое были безнадежно помешанные, десятерых ждал перевод в Сибирь, оставалось всего пятнадцать человек.

Оставить режим старым—это значило в несколько лет лишиться всех заключенных. На Шлиссельбург же отпускалось 85 тысяч в год и целый штат жандармов питался вокруг жертв царизма. Сама крепостная администрация, опасаясь за свою судьбу, начала хлопотать об улучшении режима, то-есть, другими словами, о поддержании дорогой им отныне жизни уцелевших „арестантов“. Вот источник мягкосердия русского правительства по отношению к Шлиссельбургу.

За все время существования Шлиссельбурга (1884—1905) туда было привезено 68 человек; из них:

Тринадцать были расстреляны и повешены на стенах тюрьмы (Мышкин, Минаков, Ульянов⁶⁰, Генералов⁶¹, Осипанов⁶², Андреюшкин⁶³, Шевырев⁶⁴, Штромберг⁶⁵, Рогачев⁶⁶, Балмашев, Каляев, Гершкович, Васильев⁶⁷);

четверо там же покончили с собой (Клименко, Тиханович, Грачевский, София Гинсбург);

трое застрелились вскоре после освобождения (Янович⁶⁸, Поливанов⁶⁹, Мартынов⁷⁰);

четверо находятся в состоянии безнадежного умопомрачения (Похитонов⁷¹, Щедрин⁷², Конашевич⁷³, Чепегин⁷⁴);

пятнадцать умерло от чахотки, цынги и прочих болезней в стенах тюрьмы (Нечаев⁷⁵, Исаев, Арончик⁷⁶, Богданович⁷⁷, Златопольский, Малавский, Буцинский⁷⁸, Буцевич, Кобылянский, Геллис⁷⁹, Долгушин, Юрковский⁸⁰, Игнатий Иванов, Немоловский, Людвиг Варынский⁸¹);

пятеро по уничтожении Шлиссельбурга перевезены на Акатуйскую каторгу;

одна убита во время манифестации во Владивостоке (Людмила Волькенштейн).

Смягченный режим держался до 1902 года, то-есть до воцарения Плеве. Новый русский самодержец, при котором было заложено начало Шлиссельбурга, нашел весь режим „незаконным“, лишил всех приобретенных льгот и ввел „законность“...

... Пароход приближался к этому царству российской законности.

Глава вторая

В ВОРОТАХ ТЕМНОЙ ПРОПАСТИ

Часов в десять утра пароход останавливается. Слышны какие-то голоса. Очевидно, подъехали. Офицер сверху делает знак унтерам.

— Пожалуйте!

Моросит мелкий дождик. Небо серое, петербургское. Вот он—Шлиссельбург! Давящая жуть охватывает при первом же приближении к нему.

Это очень маленький островок—десятины, вероятно, в две, расположенный в месте истока из Ладожского озера Невы. Со всех сторон окружен высокими стенами. По углам башни. Стены серые, с темными пятнами—следы сырости и плесени—невероятно мрачные, поднимаются прямо из-под воды. Ладожские волны злобно бьются об эти громады вот уже много сотен лет! Через стены видны только трубы и золоченый шпиль колокольни.

Пароход к самому берегу не подходит. Вас пересаживают в лодку, наполненную жандармами. На маленьком клочке земли, расположенном около ворот, виднеется целая группа жандармских офицеров. Несколько поодаль — нижние чины. Лодка направляется к ним. Все окутано осенним туманом.

Въезд в крепость напоминает туннель; в раскрытые ворота виднеется темная пропасть. У ворот жандармы с винтовками. Над воротами двуглавый орел и надпись громадными золотыми буквами: „Государева“, в простоте душевной изображенная, очевидно, вместо „государственная“. Маленькая, невольная, может быть, вследствие поспешности, ошибка, раскрывающая однако большую ошибку и ужас русской жизни—*l'état c'est moi*—государство — это я!

Маленькая ошибка, заключающая в себе однако большую правду и все содержание Шлиссельбурга место расчета с своими личными врагами.

У ворот встречает целая рота жандармов и по каким-то бесконечным лестницам, коридорам, казармам вас наконец приводят в приемный покой.

Удивительное чувство охватывает вас, когда вы входите в ворота, вернее, в зияющую, темную пасть этой крепости. Под гул шагов, под лязг шашек, под бряцание шпор, пред вами поднимается весь мрак таин-

ственности, окутывающий эту „Государеву“ охрану, все ужасы, слышанные о ней. Встают тени погибших и образы томящихся там.

...„Там вся слава наша и вся скорбь наша“, — как эхо проносится под сводами крепости.

Сердце бьется сильно и радостно в гордом сознании, что на твою долю выпал редкий удел переступить этот зловещий порог, что за тобой захлопнется дверь, захлопнется навсегда и ты очутишься хотя вне жизни, но на одном клочке земли с этими стойкими борцами...

В приемном покое, на одном из шкафов которого красуется череп — как бы эмблема шлиссельбургского заточения, с вас снимают платье, раздевают до-гола и облакают в арестантский костюм.

Белье точно иглами жжет и колет все тело. В тяжелом громадном арестантском одеянии с непривычки чувствуешь себя, как в мешке. До позднего вечера вас держат здесь, и вы стараетесь предугадать, куда же вас наконец поведут и где будут „содержать“. Жандармы при вас — немые, как статуи — неотлучно.

Томительно долго и нестерпимо тоскливо тянется время. Со двора доносится скрип гармоники и отдаленные звуки залихватской солдатской песни.

И вас, как ножом, полосуют эти звуки, кажущиеся здесь такими кощунственными — точно в комнате дорогого покойника заплѣсали комаринскую. „Неужели они здесь поют?“ — думаешь с недоумением.

На дворе начинает темнеть.

Прислушиваешься к каждому шороху — вот-вот за тобой, думаешь. Но все мимо.

Часов в девять вечера являются два жандармских офицера:

— Одеваться!

С трудом натягиваете на себя халат, а ноги теряются в необъятных „котах“, подбитых громадными, нестерпимо колющими гвоздями. Вы собираетесь уже идти, как вам накидывают на голову башлык, плотно обвязывают вокруг шеи, жандармы подхватывают под руки и куда-то волокут.

Трудно передать то подавляющее впечатление, которое производит эта „ходьба“ с завязанным ртом и глазами. Впечатление тем мучительнее, что вы никогда об этом приеме не слышали, так как раньше он не применялся, совершенно не ждете его, не понимаете его значения и, конечно, рисуете себе всякие ужасы. Подвал, „дыбы“, раскаленные щипцы, замурование в каменный мешок—все лихорадочно проносится в вашем воображении.

Вы чувствуете, что вас ведут по каким-то лестницам, то вверх, то вниз; потом вас обдает свежий воздух; идете долго по каменным плитам, проходите под какие-то своды, где шаги отдаются невероятно гулко.

Какие-то темные коридоры, где слышен стук ружей.

Опять ступени, как-будто спускаетесь в какой-то подвал.

Слышно, как громяют железные ворота.

Протискиваетесь через какие-то тесные проходы.

Идете, идете, как-будто без конца—и все время в ушах отдается ужасный гул многочисленных шагов.

Дышите отрывисто спертым, скопившимся под башлыком воздухом.

И все время в голове быстро-быстро сменяются мысли, вся жизнь, точно зигзагами молнии, прорезывается в сознании.

Вдруг все останавливается.

Вы как-то не замечаете, как с вас снимают капюшон и вас обдает ярким светом.

Вы дико озираетесь кругом, щурясь от режущего глаза света, стараясь сообразить, где вы.

Небольшая камера. Привинченная к стене арестантская койка, железная, вделанная в стену доска-столик, решетка: знакомая картина.

Вся ватага жандармов высыпает из камеры. Щелкает замок. Вы остаетесь один, начинаете приходить в себя. Ваш взор с тревогой и трепетом скользит по камере.

Вот оно наконец, шлиссельбургское сидение!

Вы даже приблизительно не представляете себе, где вы: погреб ли это, в какой это части крепости, есть ли здесь еще какие-либо камеры, что представляет собой это здание — сплошная загадка.

Тишина подавляющая. Вы слышите тишину, ощущаете ее. Как-будто очутились на каком-то мертвом острове. Только каждые несколько минут к глазку тихо, тихо кто-то подкрадывается мягкими кошачьими шагами и наблюдает за вами.

Угнетенный всем пережитым и пережитым, вы бросаетесь на койку, но, конечно, не смыкаете глаз.

Все свершилось — вы на шлиссельбургской койке! Кто лежал на ней до вас? Кто переживал на ней те же чувства? Какие ужасы развертывались вот здесь, в этих четырех стенах?

...А теперь вот выбелено, вычищено, и погибшим, выбывшим ты приходишь на смену...

На смену!..

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ТРАГЕДИЯ БЕССРОЧНО ЗАТОЧЕННОГО

Тихо.

Через тюремное окно неясно виднеются железные полосы решетки, расплывающиеся в черном, мягком мраке.

Доносятся какие-то неопределенные звуки, не то какой-то шелест, не то заглушаемый далекий стон разбивающихся о крепостные громады ладожских волн. Только отчетливо где-то наверху (крепостные стены очень широкие — говорят, аршин в десять; наверху устроена галерея, по которой ходят взад и вперед четверо вооруженных жандармов) слышатся гулкие шаги, то приближающиеся, то удаляющиеся.

Под этот тихий шелест и эхо шагов пред вами снова и снова властно разворачивается прошлое Шлиссельбурга.

Краткое, но мрачное и кровавое.

Длинной вереницей проходят перед вами эта многолетняя, непрерывная борьба, эти голодающие, готовые заморить себя, эти расстрелянные, стремившиеся своей смертью улучшить участь оставшихся, вешавшиеся сжигавшиеся, умершие от тоски и истощения, сошедшие с ума, оставшиеся в живых, но надломленные, разбитые, — вся эта кровавая, скорбная летопись стойкости и борьбы, с одной стороны, безумного зверства и дикой злобы — с другой.

Призраки, мертвые и живые, всю ночь наполняют камеру, приветствуя собрата на новосельи...

Рано утром открывается форточка—кипяток! Нужно одеваться. Край здесь же в камере. Клозет тоже. Выходить,

значит, никуда не нужно: предусмотрительно! Наверху на стене, прямо против окна стоит часовой жандарм.

Через час открывается дверь, входят два жандарма, прибывают к стене печатную „инструкцию“ для заключенных в крепости российскую конституцию, как в шутку прозвали мы эти правила.

Запрещается говорить, петь, свистать, стучать, вообще „производить какой-либо шум“. Должно беспрекословно исполнять требования начальника и жандармских унтер-офицеров.

За незначительные проступки—по усмотрению начальника — карцер, кандалы, темный карцер. За более значительные — 50 розог.

За оскорбление кого-либо из начальствующих лиц и какие-либо тяжкие преступления — смертная казнь.

У российского „гражданина“ не много прав. Но странное чувство охватывает вас, когда с вас снимают „вольное платье“ и облакают в арестантский халат, а вместе с тем и в официальное уже бесправие. „Арестант“, „лишенный прав“ — сколько раз произносишь эти слова на воле и совершенно не вдумываешься в их зловеющий смысл.

Попадая в руки „начальства“, уясняешь себе все их значение. Чувство беспомощности, сознание, что в каждую минуту из-за какого-либо пустяка, из-за мелочи можешь попасть в какую-нибудь историю, все время совершенно отравляет твое существование. Прекрасно сознаешь, что все зависит от тюремной администрации.

Не хочет она вызывать истории, не хочет она отравлять жизнь заключенным — все в тюрьме будет тихо и спокойно. Захочет она выдвинуться, отравить нам жизнь, сделать самое существование невозможным — и вы не поручитесь, что в любой момент, помимо

своей воли, сознательно не пойдете на „историю“, которая может кончиться кандалами, прикладами, расстрелом, а может быть, и чем-нибудь худшим... Каторжан, как кошмар, преследует существующее наказание в виде розог.

Вас могут подвергнуть телесному наказанию — вот что всегда леденящим ужасом стоит перед вами!

Конечно, вы не дадитесь. Конечно, они овладеют вами только полуживым. Но все же, пока вы в одиночном заключении, они могут вами в конце концов овладеть и эта мысль долгое время не дает вам покоя. С тревогой присматриваешься первое время к окружающим жандармам. Что это — люди или звери? Стараешься определить каждого в отдельности, выяснить — кого надо опасаться и кто является более невинным.

Проходит дня три — вы никого не видите. Из камеры вас не выводят и вы все еще не знаете, где вы находитесь. На третий день в полдень наконец открывается камера: „На прогулку!“ Кое-как напяливаешь на себя халат; громыхая необъятными „котами“, едва сдерживая нетерпение, торопишься скорее увидеть, куда тебя поместили. Оказывается — в старую тюрьму или — на местном наречии — „сарай“.

Это низкое, придавленное к земле зданьице, помещенное в цитадели (крепость в крепости), шагов в 15 ширины и 50 — длины. Обои концами упирается в крепостные стены. Здание очень старое, когда-то служило помещением для стражи Иоанна Антоновича⁵², камера которого находится тут же. Здание, прогнившее, пропитанное сыростью и всевозможными миазмами насквозь, так что, несмотря ни на какую топку и окраску, стены моей камеры (самой темной и сырой,

так как она крайняя и прилегает к наружной крепостной стене, выходящей на озеро) от пола на аршин покрыты плесенью, точно бархатными шпалерами, и с них прямо сочится вода.

В этом корпусе находится всего десять камер. Длинный, во все здание коридор с низким потолком. Черный каменный пол. В коридоре вечный полумрак. Воздух спертый, тюремный.

Гулять выводят в простенок — шагов на десять — между „сараям“ и крепостной стеной. Пространство это перегорожено на две части. По середине узенькая дорожка шагов в двадцать — тут и прогулка. На другом дворике, прямо против окна моей камеры был казнен и похоронен Степан Балмашев.

„Прогулка“. Два жандарма на дворике, один с винтовкой на стене. Проходит пятнадцать минут — раздается окрик: „Кончать прогулку!“

Тем же путем идешь обратно. Первое время при возвращении с прогулки в тюрьму вас так и обдаёт тяжелый, промозглый воздух коридора. После нормального света на прогулке особенно давит тяжелый полумрак тюрьмы. Приходится проходить весь коридор, в конце которого имеется узенький — шага в два — уже совершенно темный коридорчик; он-то и ведет в камеру.

Система заключения, надо отдать им справедливость, удивительно совершенная. Жандармы вышколены и следят друг за другом так, что никогда вам не удастся остаться хотя бы на несколько секунд с глазу на глаз. Даже комендант, жандармские офицеры и доктор не имеют права входа в камеру без дежурного жандарма. Обыски в камере постоянные. Вещей никаких нет — все на виду.

Из живого мира не долетает ни одного звука. Конечно, никаких свиданий, переписки, газет, журналов и пр. Имени нет. Номер такой-то. И удивительно быстро вы начинаете терять представление о живом мире. Однообразие обстановки, которого вы не встретите ни в одной тюрьме, невольное чувство, что в этой обители будет протекать вся ваша жизнь, отсутствие даже мысли о возможности попытки установить какие-либо сношения, сознание необходимости примириться с этой изолированностью—все это создает такую невероятную оторванность, что вы очень скоро начинаете себя чувствовать совершенно вне жизни.

Никого—кроме жандармов. Ничего—кроме каменных стен. Особенно тягостно и разрушающе действует на психику зимняя обстановка. Все—и небо, и воздух, и стены, и вы сами, и жандармы,— все покрыто каким-то однообразным серовато-белым цветом. Все сливается в одно, в какую-то мертвую, каторжно-серую массу.

И это чувство отсутствия жизни порою так сильно, что вы начинаете тревожно думать: да полно, не сон ли все то, что представляется в прошлом?

Неужели действительно была эта жизнь, эта борьба, эта деятельность?.. Это не сон—все эти люди, эти товарищи, эти партии?.. Неужели все это было? И так недавно?.. И вот тут, за этими стенами, действительно течет живая жизнь?.. Тут, всего в двух шагах, стоит только перебраться через стену и Неву?.. Настоящая, живая жизнь?..

„Да, настоящая, живая жизнь,—шепчет другой голос,—и никогда, никогда ее больше не будет...“ Никогда! Какое ужасное слово, когда за ним следует—навсегда! Вот эта жизнь—серая, мертвая—она теперь навсегда!..

И перед вами, точно пугающие призраки, вытягивается длинная бесконечная вереница дней, недель, месяцев, годов! Жутко делается и дрожь охватывает вас всего.

Боги! Сколько их, этих месяцев, годов!.. И все их надо „прожить“, все их надо наполнить. Пять... десять... двадцать... тридцать!.. Тридцать лет! Неужели? Неужели тридцать лет?..

Воображение начинает мучительно, болезненно работать, сиюсь реально представить себе эти тридцать лет, охватить их одним взглядом.

...Но как? Как?..

Постепенно складывается представление и ощущение каменного гроба. Все бывшее, прежнее, истинное виднеется в каком-то далеком, неясном тумане.

И чем больше оно — это прошлое — кажется безнадежно потерянным и бывшим когда-то, в далекие, далекие времена, тем настойчивее и упорнее возвращаются к нему мысли. „Воспоминания бич несчастных!“ „Несчастных“ — это для нас неподходящее слово; скажем лучше — бич для тех, у кого, кроме воспоминаний, ничего не осталось. Все прежнее покрывается розовой дымкой. Шипы пропадают, о них забываешь, остаются и помнятся только одни розы.

Но любопытно! Преследуют воспоминания не только из жизни боевой, партийной, т. е. не только то, что составляло весь смысл и содержание жизни.

В силу контрастов — в холод, в бурю, когда все замечает кругом снегом, когда в камере тускло, уныло, безнадежно мертво, — вас преследует аромат соснового леса, весенний вечер, берег реки. Встают картины бесконечно далекого, давным-давно забытого детства и через железные затворы властно, безудержно проры-

вается ласкающий шопот едва распустившегося леса и беспечное, звонкое детство.

Неустанно, бесменно мысли возвращаются и беспомощно бьются у вопроса: что же там, в стране? Как война? Заключенные—как дети. Настроения их изменчивы. То ясно, как божий день, рассчитываешь, что Япония должна разбить обкрадываемую и развращаемую русскую армию, а стало быть, и весь режим. Ясно, математически высчитываешь, что режим этот может продолжаться только до конца войны, а потом...

Яркие, обольстительные картины возрождения России сменяются тяжелыми думами: вот там, рядом, люди сидят почти четверть века. И четверть века тому назад, входя сюда, они, наверно, так же ясно представляли себе и верили в близость и неизбежность крушения строя, как веришь ты. А между тем—юноши превратились в старцев, а этот строй все еще держит их в своих каменных объятиях. Где гарантия, что мы теперь так же не ошибаемся, как ошибались они тогда?

Конечно, режим осужден на смерть; конечно, он умрет, но что значит в истории страны четверть века?!

Помню, как-то раз, в октябре—ноябре, видел вскользь коменданта; меня как ножом полоснуло: к старому пальто пришиты новые пуговицы с орлами.

Несколько дней ходил, как убитый, никак не умея разгадать тяжелую загадку: по какому поводу жандармы получили „государственный герб“ на пуговицах. Если им дано такое отличие, значит, жандармы в силе и славе, значит, свобода по-старому в бессилии и поношении. Увидишь, что жандармы что-нибудь собираются чинить, снова „душа опускается“—значит, собираются еще долго существовать, значит, завтрашний день еще не принадлежит нам, если они о нем думают.

Наоборот, увидишь грустные, тревожные лица, смущение и раздумье, дух снова взлетает к небу, снова ясно видишь, что Россия вот-вот должна быть свободна и будет свободна. Десять раз на день сменяются эти настроения. Вся жизнь протекает в бесконечном мире фантазий и гаданий: внешняя жизнь ограничена камерой, коридором и тропинкой в двадцать шагов для прогулок.

Так или иначе „жизнь“ входит в колею. Трудно сказать: ты ли приспособливаешь жизнь, жизнь ли приспособливает тебя, — но слияние происходит. Входишь в курс шлиссельбургской жизни, ее интересов и забот, ее радостей и печалей.

Радости и печали, особенно радости, не весьма крупного размаха. Не надо быть „бессрочно заточенным“, чтобы понять, как такие, казалось бы, мелочи играют такую большую роль в жизни заключенных. И в этом-то вся трагедия!

Сколько, например, пережито дней тревог по вопросу, дадут ли кусок мыла? И с какой восторженной радостью вы, стараясь скрыть эту радость, хватаете из рук жандарма выданный маленький кружочек мыла. И когда вы полученным мылом намыливаете руки и любуетесь, как много грязи стекает в раковину, жизнь кажется такой легкой... „Ничего, жить можно... собственно, не так оно уж и плохо“...

Но вот портянка истрепалась; на дворе холодно, ноги мерзнут на прогулке. И эта истрепанная портянка вызывает целый ряд мрачных мыслей, служит причиной уныния многих дней.

Единственные живые существа, с которыми сводишь совершенно бескорыстную дружбу, это — воробушки и галки. Зимой, очевидно, вследствие недостатка пищи,

они делаются удивительно уживчивыми. В несколько недель их так приучаешь к себе, что они принимают пищу прямо из рук, садятся на колени, на плечи и пр.

Странную, вероятно, картину представляла бы для „наблюдателя с небес“ эта дружба; высокие крепкие стены, вооруженные жандармы и в арестантском халате преступник, миролюбиво делящий трапезу между воровбушками и галками...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

НИКАКИХ ВЕСТЕЙ, НИКАКИХ ПЕРЕМЕН

Постепенно ухо настолько привыкает, что разбираешься во всех звуках, от поры до времени раздающихся в тюрьме. Иногда издалека доносится слабый заглушаемый звук ударов молота о наковальню. Очевидно, это „старики“ где-то работают в кузнице⁸³.

Значит, мастерские опять открыли?

И кузница кажется тебе верхом счастья. Есть же такие счастливцы, с невольной завистью думаешь о них, представляя себе этих старцев, бьющих молотами раскаленное железо...

Кипяток и обед разносятся жандармами и передаются через дверные форточки.

Как они ни стараются проделывать это незаметно, в конце концов выясняется, что в камере, помещающейся в противоположном конце коридора, кто-то сидит. Очевидно, больной, так как слышишь, что туда часто ходит доктор. Кто бы это мог быть?

Не иначе, как Качура, делаешь заключение. (Потом уже, когда Шлиссельбург был расформирован, узнали,

что там с 1902 года сидел несчастный Чепегин, сразу надломившийся. Он заболел—развилась цынга и тихое помешательство). В первых числах января заключенный исчез. Уж не повезли ли его опять на суд для новых оговоров?!

Через несколько недель начали усиленно топить две боковые камеры, расположенные с другого конца коридора. „Новые заключенные? Жертвы оговора Качуры?“ Внимательно прислушиваешься к малейшему шороху, стараясь не пропустить момента появления новых жильцов, если таковые действительно ожидаются.

29 января (1905 г.) с утра заметно было какое-то необычайное движение: что-то прибывали, что-то выносили, что-то чистили.

Весь вечер простоял, приложив ухо к двери.

Часов в восемь вдруг слышится, как громыхают железные затворы входных дверей. Через несколько минут—гул шагов и ясно выделяющийся стук „котов“ о каменный пол. Потом все стихает; слышно, как запирается камера, и снова удаляющиеся шаги. Минут через пятнадцать та же история. Значит, привезли двоих. Но кого? Расплата ли это за старые дела или же за новые? Делаешь всевозможные усилия, чтобы хоть приблизительно узнать, кто эти вновь привезенные, но все напрасно.

Время идет. Никаких вестей, никаких перемен в положении.

Потянуло теплом. Начало таять.

Громадные сугробы снега, которыми был завален дворик, сереют и уменьшаются. Воробушки неистово чирикают и воркуют парочками. Уже год после суда. Странно! Безнадёжно медленно тянется настоящее, т. с.

переживаемый день. Но прожитое как-будто валится в пропасть. И, оглядываясь назад, невольно спрашиваешь себя: „неужели уже год прошел?“

Чем дальше дело идет к весне, тем отвратительнее и нестерпимее в камере. Стены окончательно отсырели, и даже масляная краска, которой покрыт низ, размякла в тягучую слизкую массу. Сырость такая, что соль в солонке расплывается. Толка не помогает. Сколько времени будут здесь держать?

Любопытно, что даже при Толстом „сарай“ служил только карцером. Больше 2—3 недель в самые мрачные времена Шлиссельбурга там никого не держали.

Плеве распорядился вновь прибывающих выдерживать в чистилище. Но сколько держать—это, конечно, в полной власти департамента полиции.

Доведется ли увидеть „стариков“? Ведь если к ним применили манифест 11 августа 1904 года, — а казалось совершенно невозможным, чтобы к людям, просидевшим свыше двадцати лет, он не был применен, — они все должны быть уже вывезены, и в Шлиссельбурге из „стариков“ мог остаться только один Карпович⁸⁴.

С унтер-жандармами жил в ладу, но узнать все-таки ничего не мог. Хотел допытаться только одного: взят ли Порт-Артур или нет? Никакими хитростями выманить известие не удавалось. И только уже летом одного вояку удалось-таки обойти.

Был знойный праздничный день. Жандармы только что сменились на дежурстве. Очевидно, побывали в гостях и размякли.

Настроение благодушное. Мы—„на прогулке“. Воробушки забрались в кустик и чирикают,

— А ну, давай, поймаем, — говорит один. Лег на брюхо и, крадучись, хочет незаметно подобраться к птичке.

— Вот бы вас, — говорю, — назначали на место Куропаткина^{в)}, пожалуй, сцапали бы японца, как воробушка, а?

— Что ж, пожалуй, и назначут. Как-раз мое место!

— Ну, теперь-то уж поздно. Куропаткин-то Порт-Артур просвистел, вытурить оттуда японца, пожалуй, что и не удастся?

— Чего просвистел? Нешто Куропаткин виноват, коли ему солдат не доставляли? Японцам-то рукой подать, а наши пока добрались, крепость-то и пришлось сдать, — отстаивал унтер честь воинства.

— Ну, ничего! Стессель^{в)} сдал, на то он и генерал; вы опять возьмете, — успокаиваешь его, а сам весь дрожишь: пал Порт-Артур!

Две победы — одна, одержанная мною над российским жандармом, другая — одержанная японцами над российским непобедимым воинством — долгое время держат в приподнятом настроении. Пал Порт-Артур — падет самодержавие, — таков лейт-мотив твоих мыслей.

Больше, к сожалению, узнать ничего не удалось, так как потом, очевидно, жандармы спохватились, что попались на удочку, и разговоров о войне не поддерживали. Удалось только узнать, что война еще не кончилась и что „хвастать нечем“.

Чем дальше подвигалось время, тем все усиливалась тревога: переведут ли когда-нибудь в новую тюрьму или так здесь в чистилище и будут держать до скончания веков или... самодержавия? Со дня приговора прошло уже больше года, а говорили, что по истечении этого срока предполагают переводить на общее положение. Но пока что ничего не слышать было.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ВЕСНА КАКАЯ-ТО НАСТУПИЛА

В конце июля неожиданно является в камеру комендант и, в нарушение всех правил (по инструкции в камере с глазу на глаз с заключенным никто не в праве оставаться), высылает дежурного жандарма. Дверь закрывается, и комендант совершенно конфиденциально сообщает такую загадочную историю.

— Мне — пока еще секретно — сообщили, будто департаменту полиции стало известно, что вы переслали какое-то письмо отсюда. Производится следствие. Конечно, вы можете мне ничего не отвечать, но я все-таки решил прямо спросить у вас, чтобы я знал, как приблизительно себя держать...

— При других обстоятельствах я бы, полковник, конечно, ничего вам не сказал, но теперь я могу сказать: для меня ясно, что тут интриги Плеве и департамента полиции. К сожалению, я никакого письма не посылал. Просто, хотят что-нибудь придумать, чтобы иметь возможность „в наказание“ держать в этом сарае... Это как-раз похоже на Плеве.

— Да, это был большой иезуит ⁸⁷, — вырвалось у коменданта.

„Быль?“

Тревожные мысли забегали в голове: чувствую, что комендант сболтнул и теперь ему не по себе; удастся ли что-нибудь узнать? Делаю вид, что не обратил внимания на его слова.

Заговорили о курьезной истории с письмом (я, действительно, никакого письма не передавал. Правда, позже, в Бутырках уже, я узнал, что в декабре 1904 г.

петербургский брат утром нашел у себя в ящике для писем конверт с запиской: „Ваш брат Г. А. шлет низкий привет. Он в Шлиссельбургской крепости. Чувствует себя хорошо и бодро. Будьте покойны“. Для родных, которые никак не могли в департаменте полиции добиться даже известия, где я и жив ли, записка эта принесла много радости и успокоения), о курьезах вообще, перешли на министров, и между прочим спрашиваю:

— Министром внутренних дел теперь ведь уже не Плева?

Комендант несколько замялся, но все же сказал:

— Да, теперь уже другой на его месте.

— А Плева, что ж, другой пост получил?

— Да, знаете, как обыкновенно... что-то, кажется, за границу поехал, что ли...

Комендант ушел; и для меня настали дни, полные жгучих тревог... „Плева ушел!“

Тяжесть удара для партии казалась невероятной. Человек, проклинаемый и ненавидимый всей страной, воплощение деспотизма и насилия, беззастенчивого глумления над лучшими чувствами народа, ушел, и все его преступления останутся безнаказанными!..

Его жизнь казалась оскорблением общественной совести и вечным укором партии...

Не успело еще улечься это тревожное состояние, как через несколько недель получил, с разрешения коменданта, сельскохозяйственный журнал „Хозяин“ за 1904 год.

Свежий журнал!!! (опоздание на 1½ года в Шлиссельбурге не уменьшает даже у сельскохозяйственных журналов свежести).

Первую минуту все в голове перемешалось. Руки дрожат, бросаешься от одного номера к другому, точно

проглотить желая все сразу. Читаешь не словами, не строками даже, а целыми страницами. Падение Порт-Артура! Еще какие-то неудачи... банкеты... заявления... протесты... Весна! Весна - то какая наступила!!! Указ 12 декабря". На этом обрывается.

Так вот оно что! Значит, сорвало-таки плотину! Снесло-таки!..

Журнал специальный, сельскохозяйственный. Только в ядовитых обзорах Энгельгардта стараешься изловить что-нибудь для Шлиссельбурга запрещенное. Плеве где? Что с Плеве?!.. Наконец в какой-то заметке вскользь попадает фраза: „печальное наследство покойного Плеве...“ Покойного?! Плеве умер?! В сентябре прошлого года?! Охватившее тебя волнение не поддается никакому представлению. Сам умер?! Так, совершив в пределах земного все земное, опочил?

Ведь если вся эта весна — результат не непосредственного напора общественных сил, революционных организаций, а так... „признания за благо“, временной растерянности и платонического желания испытать новые пути, когда „крамола побеждена“, то ведь все это гроша медного не стоит, а революционные силы отодвигает в сторону... А может быть... может быть, умер-то не волею божией, а волей партии? И упорно, настойчиво ищешь целыми днями, не найдется ли хоть малейший намек, почему Плеве оказался покойным?.. Десяток раз просматриваешь все номера — никаких указаний.

Настали самые тревожные дни. Чувствуется, что там — на воле — разыгрывается нечто бесконечно громадное, но что именно происходит — даже приблизительно не можешь себе реально представить.

Что-то начинается! Но кто начинает? Какова степень участия сознательных сил? Сознательно разрушающей

и сознательно созидающей? Какова роль и влияние партии?! Год прошел с появлением „весны“; что же там теперь? Ведь если бы за „весной“ последовало „лето“ — нас не было бы уже здесь... значит, опять после минутного просвета тот же мрак?!

В таком мучительном состоянии прошло шесть недель, каждый день которых казался целой вечностью. Срок перевода в новую тюрьму давно истек. Неужели так и не переведут?!

13 сентября является комендант. Жандармы уходят и запирают за ним дверь. Комендант необыкновенно радостен и лучезарен.

— Ну, г. Гершуни, привез вам приятное известие: после долгих моих хлопот удалось добиться у министра разрешения перевести вас в новую тюрьму.

— Когда?

— Да сейчас! Вот только камеру приготовят вам.

— Это действительно приятное известие! Значит, чистилищу конец!

— Конец, конец! Да многому, знаете, теперь конец!

— Например?

Пауза.

Комендант о чем-то думает, как бы не решаясь начать говорить; у арестанта душа застыла от трепетного ожидания.

— Большие перемены. Новый строй идет!

— Новый строй?

— Да! Созывается Государственная Дума⁹⁹, знаете, в роде парламента... Коротко говоря — конституция...

— Конституция?! Скажите, полковник, японцы-то, вероятно, здорово нас вздули?

— Здорово, батюшка, здорово! — безнадежно машет рукой комендант.

— А конституцию-то, что же, Плеве дал?

— Плеве?! — полковник наклоняется и говорит тихо на ухо. — На куски разорван...

— Как? Убит? Кем?..

— Да вот рядом с вами сидит — Сазонов⁹⁰... бомбу бросил... все разнесено...

— И Сазонов жив, не казнен?

— Времена, батюшка, не те!..

— А потом как?.. Все успокоилось? Больше террористических актов не было?.. Сюда-то никого больше не привозили? Казней тоже не было?

— Нет, казней не было. Кажется, все спокойно.

— А как же теперь-то все-таки, полковник? Ведь конституция-то, выходит, вещь и не такая уже дурная? Но ведь мы-то тут тоже кой-чем потрудились? И нашего, пожалуй, тут капля меду есть...

— Да кто спорит?.. Ну, шла борьба; теперь вот признано своевременным! Что ж, можете теперь испытывать чувство удовлетворения... а там видно будет.

— А война как? Кончилась?

— Слава богу, кончилась!

— Значит, конец войне и внешней и внутренней... Теперь все по-новому пойдет?

— По-новому, по-новому! Большие перемены пошли... — многозначительно повторил полковник. — Ну, теперь соберите вещи, приготовьтесь. Через час придет помощник — переведет вас. Там будет лучше.

Комендант ушел, а я остался один. И снова, как полтора года назад, после ухода Остен-Сакена, объявившего, что „жизнь дарована“, сердце замирает под напором чего-то бесконечно, бесконечно большого. В сущности, это — та же „жизнь дарована“, только в неизмеримо больших размерах.

Судьба сжалилась над несчастной страной. „Жизнь дарована“ великому народу. Конечно, не дарована, а вырвана, но не в том теперь вопрос. Теперь жизнь сохранена, теперь можно в России жить!

В груди точно молоты бьют. Дыхание порывисто — нехватет воздуху. Руки дрожат и трепетно сжимают голову, охваченную вихрем мыслей.

Плеве взорван... Сазонов жив и здесь... Армия разбита... Государственная дума... Конституция... Новая жизнь... И это не во сне?.. И до всего дожил! Дожил! И собственными глазами увидишь обновленную, освобожденную Россию!.. Он говорит: казней больше не было... Все успокоилось... значит, они — правительство — поняли наконец свое безумное упрямство? Сдались или стерты народным напором? Новая жизнь... а вот эти павшие бойцы, которые лежат в ямах тут, за стеной, они уже этой новой жизни не увидят!..

Но... забвение... забвение... „Новая жизнь?..“

И уже действительно в России можно будет жить? Уже не нужно будет убивать?.. Уже не нужно будет умирать за убийства? Настал уже этот благословенный момент?.. Проклятая нами кровавая борьба, возложенная на наши плечи проклятым кровавым режимом, настал-таки ей конец?..

Револьвер и бомба могут уже быть оставлены там, за порогом этой новой жизни, как мрачное наследие мрачного бесправия, как мрачное орудие защиты от дикого произвола и насилия властных и сильных над бесправными и слабыми?.. Кончилось всё это? Истерзанная родина не требует уже больше жертв? Кроткие и любящие не вынуждены уже будут брать в руки кровавый меч?..

Слово правды и справедливости заменило наконец бойцам за счастье и свободу трудящихся револьвер

и бомбу?.. И все это уже случилось? И там, на воле, за этими стенами, уже все это есть?!

Но погибшие? Но измученные и павшие в казематах, в сугробах Сибири, в рудниках? Все эти жертвы сверженного теперь чудовища, их как вернуть?

Забвение! Забвение!.. Голоду, холоду, векам рабства и угнетения, тьме и невежеству, грабежу и насилию, всем преступлениям, сытой и злобной власти над народом — забвение!

Но вечный позор! Но вечное проклятие режиму, вырвавшему из наших рук и сделавшему бесценным слово и мирную работу и заставившему взять кинжал и револьвер.

Но вечный позор и вечное проклятие им—жестоким, безжалостным, десятилетиями превращавшим агнцев в тигров и толкавшим на путь насилий и убийств тосковавших и жаждавших мирной созидательной работы!

Проклятие и позор: тут забвение преступно! И пусть в сознании потомков и на страницах истории горит, как печать Каина, клеймо позора и проклятия на преступном челе преступного режима!

И пусть никогда не меркнет эта надпись: „вот чудовище, делавшее убийцами лучших детей страны!..“

Глава шестая

МЫ—ПОБЕДИТЕЛИ, НО В ПЛЕНУ

Прошло около часу, пока явились жандармы, чтобы переводить в новую тюрьму. За этот час было пережито столько, сколько в нормальное время в год переживешь. В одиночестве такое состояние, кажется, совершенно немислимо перенести безнаказанно. Разнообраз-

нейших и сильнейших впечатлений так много, что вы должны во что бы то ни стало с кем-нибудь делиться ими.

К счастью, это совпало с моментом, когда самое радостное было еще впереди: свидание со стариками. В. Н. Фигнер, к которой мы, новое поколение, относились с благоговейной любовью, М. Ю. Ашенбреннер³¹ и В. Иванова³², по словам коменданта, уже с прошлого года нет. Остальные еще здесь, чему в первую минуту, каюсь, несказанно обрадовался (я думал, что к ним применили манифест 1904 года и все уже выпущены на поселение).

Было три часа дня. На дворе стояла теплая осень — „бабье лето“.

— Глаза завязывать будете? — ядовито спрашиваешь у офицера.

— Как так?

— Да сюда-то с завязанными глазами волокли!

— Ну, то другое время было, — смущенно отговаривается он.

Приходится проходить мимо камеры Е. С. Сазонова. Нарочно, как-будто споткнувшись, останавливаешься на несколько секунд. Говоришь громко, чтобы в камере слышно было.

— Теперь-то, после конституции, не грешно и этих двух перевести к нам в новую тюрьму! Там бы все вместе и ждали лучших дней!..

Выходим на большой двор старой тюрьмы, с непривычки кажущийся необычайно громадных размеров. Двор окружен со всех сторон высокими стенами цитадели. Отсюда „сарай“ имеет вид невероятно жалкий, пришибленный — точно вдавленный в землю.

Минуем ворота, вделанные в неимоверной ширины стене. На следующем дворе „новая“ тюрьма. Длинное

двухэтажное с железными решетками здание. По середине подъезд.

Входим во внутрь тюрьмы. Постройка крайне оригинальная. Этажи разделены не потолком, а плетеной веревочной сеткой, напоминающей гамак. По обеим сторонам стен расположены камеры. В уровень пола второго этажа тянется узенькая, аршина в полтора, галерея. С каждого пункта таким образом вся внутренность, как на ладони.

Камеры все заперты. Тихо. С непривычки тебе все кажется, что свалишься с галереи на сетку.

— Пожалуйста, вот сюда!

Камера небольшая — шагов пять в длину и четыре в ширину, но довольно светлая и чистая. Железная койка, решетки. все как обыкновенно. Но сразу поражает давно уже не виденное: в одном углу — деревянная этажерка, в другом — дивной резной работы стул.

— Теперь заключенные чай пьют; через час начнется прогулка. Хотите, может быть, повидать старосту? — спрашивает офицер.

— А кто у вас староста?

— Да из ваших же — Карпович. (Для хозяйственных дел тюрьма выбирала своего старосту. Выборы производились каждые полгода. В это полугодие был П. В. Карпович).

— Карпович?.. Пожалуйста, очень рад буду!..

— Ну, подождите, я пойду предупредить.

— Неужели поведут к Карповичу? — думаешь с недоумением, как-то все не веря, что бесконечное одиночество уже кончилось.

— Пойдемте... вот тут... осторожно, не споткнитесь.

Предупреждение не лишнее, так как от волнения ноги дрожат и не держат. Жандарм распахивает железную дверь и предо мной с громадной черной бородой Карпович...

С полчаса мы были, как безумные, т. е. не мы, а я. Речь перескакивала без всякой связи, без последовательности. Всякий торопился скорее передать свое. На меня, как дождем, посыпалось: флот разбит... вдребезги... ни одного суденышка не осталось...

— Победы, неужели ни одной победы наши не одержали?

— Какой там чорт победы! Биты-биты, бить надоело японцам... Мукден, Ляоян, Цусима ⁹³... Офицерство — полное ничтожество... Воровство, разврат...

— А в стране?

— В стране? Кавардак. Все к черту летит. Черноморский флот взбунтовался, утопил офицеров и явился обстреливать Одессу ⁹⁴.

Армия? Полная деморализация! Солдаты презирают офицеров, офицеры не доверяют солдатам...

Революция? Одна казнь здесь была... Комендант говорит, не было? Врет! В мае была. Мы знаем. Кажется, в связи с покушением на Сергея ⁹⁵, точно разузнать не удалось. Дума? Мошенство, больше ничего. Выеденного яйца не стоит. У нас есть манифест, можно будет получить.

Но, кажется, требуют больше, и правительство вынуждено уступить.

Сколько нас здесь осталось? Восемь человек. Да постой, надо простучать. Летит телеграмма (стуком в дверь—для всей тюрьмы): „Гершуни переведен. Бодр. Обнимает. Будет на прогулке“. Через несколько

секунд ответ: „Поздравляем. Добро пожаловать. Сейчас увидимся“.

— Кого можно будет сегодня увидеть? Я хотел бы Г. А. Лопатина: у меня есть для него поклон от его сына.

— Да всех увидишь...

— Как всех? Ведь у вас тут гуляют по два?

— Ну, нынче, как японцы вздули их там, и здесь стало лучше. Всех увидим.

В четыре часа отпирают на прогулку,

Прямо против входа в тюрьму—одноэтажное здание кордегарии. Там всегда под ружьем караул из двадцати жандармов. С правой стороны крепостные стены. Половина пространства между этими стенами и тюрьмой занято огородиками или—на тюремном наречии—клетками. Это разгороженные досками квадратики шагов в двадцать длины и десять—пятнадцать ширины. Узенькая тропинка отведена для гулянья, остальное—надел для полеводства, садоводства, огородничества и проч. С одной стороны перегородки упираются в крепостную стену, по которой ходит часовой, с другой—в забор, к которому приделана галлерей. По этой галлерее ходит дежурный унтер-офицер. Клетки снаружи запираются. Каждая клетка отведена на двоих. Имеется еще и большой огород, где в последнее время отвоевали право гулять вчетвером.

Когда мы с Карповичем приблизились к клеткам, к нам бросились навстречу „старики“. В безобразном арестантском одеянии, кто в сером, кто в белом (на лето там выдается „дачная пара“—куртка и штаны из холста), большинство седые, как лунь, но с яркими ясными глазами. Собственно это было большое нарушение тюремной дисциплины. Но привод „нового“—это в Шлиссельбурге такая редкость; там—на воле—

„послабло“, жандармы, казалось, сами находились под радостным настроением встречи новичка со стариками, так что несколько минут, перекидываясь беспорядочными отрывочными фразами, стояли все вместе „скопом“. Решено было собираться на прогулках в большом огороде вчетвером по очереди. Прогулки сегодня остались с четырех до шести. За эти два часа со всеми перезнакомились.

Они, оказывается, в самых общих чертах знали уже о последних событиях. Совершенно случайно, благодаря разным обстоятельствам, в тюрьму проникали (с ведома администрации) известия о неудачной войне, о каком-то неопределенном движении в стране, о Думе 6 августа и еще несколько отрывочных данных.

О всем периоде с 1901 года, т. е. с момента появления П. В. Карповича, — о постепенном росте движения, об участии крестьянства, о террористической борьбе, о партийных группировках, о самой партии эс-эров, — не имели почти никакого представления. В течение долгого времени целые дни проводили в большом огороде, передавая друг другу новости: они — о том, что делалось здесь. Я — о том, что делалось там — в далеком, далеком для них мире.

Из стариков к этому времени осталось восемь человек: П. П. Антонов ⁹⁶, С. А. Иванов ⁹⁷, Г. А. Лопатин, И. Д. Лукашевич, Н. А. Морозов, М. В. Новорусский ⁹⁸, М. Р. Попов ⁹⁹ и М. Ф. Фроленко ¹⁰⁰.

Не буду говорить о том совершенно исключительном настроении, в котором находился со времени перевода в новую тюрьму и свидания со „стариками“.

После беспросветного мрака и одиночества в течение 2½ лет все представлялось каким-то волшебным сном. Там — на воле — крушение старого строя. Как далеко это крушение пошло — неизвестно; но оно началось,

а начавшись, остановиться не может. Теперь мы уже не побежденные, теперь мы победители, до заключения перемирия находящиеся в плену.

С непривычки все поражало в новой обстановке. Режим к тому времени ослаб. „Петербургу“ было не до того, местная администрация, очевидно, тоже со дня на день ждала „больших перемен“, и жизнь заключенных не отравлялась придирчивыми мелочами, обыкновенно создающими ад в тюрьме. Это „ослабление“ режима в Шлиссельбурге было тем ценнее, что вообще там режим служил точным политическим барометром положения на воле. Малейшие изменения „там“ сейчас же давали себя чувствовать здесь.

За двадцать лет заключенные, конечно, накопили массу всевозможных вещей. В мастерских работали годами. Делали шкафы, стулья, этажерки, вешалки, сундуки, всевозможные коллекции, гербарии, набивали чучела и пр. и пр. Все это скоплялось в камерах и последние принимали более жилой вид. После „образцовой“ тюремной обстановки в Петропавловской и „сарая“, где ничего, кроме стен и решеток не было, эти камеры производили впечатление кабинетов ученых.

Глава седьмая

ЕВРЕЙСКАЯ СКАЗКА О КОЗЕ

Есть еврейская сказка: „Сказка о козе“. Жил в одном городе бедняк Шолем. Совсем не было у него денег, но зато была большая семья и очень маленькая хата. Был он тряпичником, а жена держала козу. Детей неисчислимое множество. Так много, что в маленькой хате

даже поместить нельзя было всех и часть ночевала у добрых соседей.

Мешки с тряпьем разбирались на дворе; там же под навесом стояла и коза. Скверная была жизнь, неумоги от тесноты и грязи.

Слышал Шодем от добрых людей, что на слободке живет великий ученый, святой муж великого ума. Такого великого ума, что всех несчастных наставляет, как быть счастливыми. Порешил Шодем пойти к святому мудрецу просить у него совета, как поступить, чтобы жить можно было.

Рассказал Шодем про свою жизнь, как есть нечего, как поместиться негде, как от духоты болеют дети, как со двора идет в хату смрад от разбираемого мусора, как коза мало молока стала давать, так как спит на голой земле, и пр. и пр. Все рассказал, а мудрый раввин выслушал.

— Ну, что скажете, равви? Есть у бога для меня милость?

— Будет хорошо. Иди домой. Собери всех детей и впредь, чтоб не ночевали у соседей.

— Равви! И так деться некуда! — робко возражает Шодем.

— Будет хорошо! Делай, как говорят.

Привел на ночь Шодем детей. Дети плачут, в хате стон стоит. Никто не спал.

Идет Шодем к равви.

— Ну, как?

— Да будет благословен бог и святое имя его, но плохо, равви! Еще хуже стало!

— Внесите мешки с тряпьем в хату и там разбирайте.

— В хате разбирать тряпки?!..

— Будет хорошо! Делай, как говорят.

Стал Шолем в хате разбирать тряпки, кости, мусор. Пошел смрад и вонь — дышать нельзя. Старший мальчик с досады и злости разбил стекло, чтобы хоть несколько свежий воздух проникал. Что делать? Надо идти к равви.

— Ну, как, Шолем?

— Сто лет вам жить, равви. Плохо!

— Вставь стекло. Не держи козу на дворе, **введи** ее в хату, там пусть будет с вами день и ночь.

— Козу в хату?! День и ночь?!

— Будет хорошо! Делай, как тебе говорят.

Уныло и понуро идет Шолем домой. „Что мы — темные люди — можем знать? Должно быть, так лучше! Великий мудрец, он ведь все знает...“ — покорно думает Шолем.

Ввел в хату козу. Не жизнь — ад начался. Дети расхворались, целыми днями ревмя ревут. Лежат вповалку. Жена голосит: „Лучше пусть бог возьмет к себе! Нет уж сил!“

Коза наполняет всю хату. Куда ни повернешься — всюду она. В довершение всего коза перестала давать молоко...

Шолем был человек совестливый. Как великому мудрецу досаждать своими невзгодами?! Терпел, терпел, но не выдержал — постучался к равви.

— Ну, как?

— Да будет благословенна мудрость ваша, равви! Не знаю уж, на каком мы свете! Да не прогневается на нас бог — совсем жить стало нельзя. Сжальтесь, равви!

— Поговори с добрыми соседями; попроси, чтобы разобрали детей на ночь, а потом приходи ко мне.

„Разместить детей по соседям? Это хорошо! — всеело думает Шолем. — Это очень хорошо!..“

Разместили детей. В хате стало свободней. „Видно, не напрасно люди считают равви мудрым, — говорит Шолем, — надо пойти поблагодарить“.

— Ну, как, Шолем?—приветливо спрашивает равви.

— Теперь хорошо! Много лучше!—весело говорит Шолем.

— Вот видишь! А ты роптал на бога. Теперь вынеси тряпки на двор и там разбирай! Потом приходи опять.

„На дворе разбирать тряпки! Какой мудрец! Прямо золотая голова. Это у нас настоящий рай теперь будет! Вот старуха-то обрадуется!..“ Мчится Шолем домой — откуда только силы и бодрость взялись!

Сидят вечером после работы Шолем с женой и любуются, и благодарят бога за милость и доброту: „Вон как хорошо стало! Ни пыли, ни мусору, ни миазмов от тряпок! Коза вот только как-будто в хате себя плохо чувствует, да и беспокоится от нее“, робко думают „счастливицы“, стыдясь своей „неблагодарности“ и „жадности“. Надо итти благодарить равви.

— Ну, как, Шолем?

— Ах, равви, так хорошо, так хорошо, теперь уж и не знаем, как благодарить! Вот только...

— Коза, Шолем? Ты хочешь сказать насчет козы? Выведи ее на двор и поставь на старое место.

У Шолема взыгралось сердце. „Какой мудрец! Какой мудрец! Вывести козу! Да ведь это рай нам будет теперь! Старуха-то! Старуха как обрадуется!..“

Поставили козу на старое место. Стоят Шолем и старуха друг против друга. На душе жаворонки поют. „Не сглазил бы кто, — со страхом шепчут они, думая о своем счастье. — Вот жизнь-то когда настоящая настанет! Праздник и ликование!..“

„Велика к нам милость бога“, — думают старики.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В БЕЗНАДЕЖНОМ ОДИНОЧЕСТВЕ

Такова еврейская сказка. Такова жизнь. Такова жизнь в Шлиссельбурге.

Отнято было все. Лишен был всего. Когда попал в новую тюрьму, где кое-что было возвращено, где нелепые лишения были уничтожены,—все казалось раем.

„Коза выведена“,—и я понял счастье Шолема, понял, почему у него на душе пели жаворонки.

Я уже отмечал, как мелочи, ничтожные, незаметные „на воле“, могут служить источником большой радости и больших печалей в тюрьме, где чудовищно бессмысленный режим лишает заключенных всех приобретений культуры. Возьмем, казалось бы, такие пустяки. Пища в последнее время была в Шлиссельбурге сносная, но в „сараях“ ее подавали в грязных вонючих судках. Ножа и вилки нет. Мясо—вареное и жареное—приходится терзать руками. И каждый раз, когда подают еду, как о величайшем, но недоступном счастье, мечтаешь о ноже и вилке. И вдруг в новой тюрьме вы узнаете: добились разрешения на день иметь столовый нож (с обязательством сдавать на ночь).

Что сравнится с тем блаженством, которое испытываете вы, когда кладете мясо на тарелку—на настоящую тарелку—и не разрываете уже руками, а разрезываете ножом—настоящим ножом! И для чая вы уже имеете стакан! И размешивать чай вы уже можете не сорванной с дерева веткой, а ложечкой. И многое, многое—всего не перечтешь, вплоть до права на ночь гасить огонь!..

Конечно, ужас положения уже виден из того, что эти мелочи могут играть такую большую роль, но на

первых порах возвращение этих „прав“ доставляет много радостей.

Отношения в тюрьмах вообще особенные. Не такие, как на воле. С одной стороны, насильственное соединение людей в одних стенах создает острую почву для всевозможных трений. Тюрьма, неволя обычно выдвигает наружу все отрицательные черты человеческого характера и обильно питают их. Лучшие стороны обыкновенно не находят себе применения и тлеют, покрытые пеплом неволи. Как общее правило, можно сказать, что в тюрьме те же люди хуже, чем на воле. Но зато, с другой стороны, тюрьма знает и такие теплые, полные любви и сердечности отношения, такие мягкие, участливые, каких не встретить в обычной обстановке.

В условиях Шлиссельбурга, конечно, эти отношения принимают особенный колорит. Появление нового человека так редко. Душа так изголодалась и исголодалась, с одной стороны; с другой — у вновь прибывшего столько чистого почтительно-благоговейного чувства к „старикам“, что создается теплая атмосфера взаимной симпатии и сильной привязанности. Вновь прибывающий чувствует себя гостем у радушных и любящих родных.

„Хозяева“ наперерыв стараются окружить его „всеми, что лучшего в жизни рок им дал“. Кто тащит шкаф, кто — письменные принадлежности, кто — вешалку, кто — ножичек, кто — книги, кто — варенье собственного изготовления, кто — цветы, кто — свежую репу, кто — сахарный горошек, кто зашивает бушлат, кто тачает вместо „котов“ самодельные туфли...

И эти выражения братского нежного внимания, эта участливость и чуткость озаряют на первых порах тюремную жизнь таким мягким светом, что все прежнее мрачное, безобразно-тяжелое как-то расплывается и вре-

менно отходит. Чувство какой-то неловкости, виновности охватывает вас, когда смотрите на этих старцев. Подумать только: некоторые из них по двадцать пять лет (М. Р. Попов, М. Ф. Фроленко и Н. А. Морозов) замурованы в застенках и только двое (И. Д. Лукашевич и М. В. Новорусский) по восемнадцать лет. Остальные по 21—22 года.

Свыше двадцати лет! Вся жизнь, проведенная в безнадежном одиночестве, в отсутствии каких-либо вестей с воли! И „воля“ все время казалась такой мертвой, такой безнадежно мертвой... Как поддерживать в себе непрерывно веру в торжество идеи и как жить без веры в это торжество?! И так двадцать с лишним лет!..

И эта борьба с злобным врагом, упорная, непрерывная, как ржавчина, разъедающая душу и подтачивающая тело! Все, чем теперь владеют: вот этот стул, эта тарелка, эта книга, какой это куплено страшной ценой! За все это заплачено такой массой мук и крови! И все это тебе достается так просто, как дар друзей.

Только вошел в Шлиссельбург, и уж тебя встречает весть, что чудовище ранено, вот-вот истечет кровью.

Тех мрачных, как ночь, беспросветных годов сомнений в торжество дела,—что бы ни было впереди,—нам уже не переживать...

Глава девятая

В „ПАРЛАМЕНТЕ“ ШЛИССЕЛЬБУРГА

Так шли дни. Мы переживали „медовый месяц“. Слова и думы все чаще и чаще, все настойчивее и упорнее возвращались к „тому“ — к воле.

Что же в конце концов там происходит? Толком ничего не знали. Офицеры отделялись общими фразами, от унтеров ничего выжать не удавалось. Знали, что убийство Плеве встречено было с всеобщим ликованием. Знали, что за убийством последовал необычайный подъем, закончившийся декабрьской „весной“. Знали, что сейчас же за этой „весной“ опять наступил какой-то поворот в сторону реакции, что последовали какие-то волнения, затем какие-то „великие акты“ 18 февраля ¹⁰¹.

Но какие волнения, что за акты и в какой связи они стоят с волнениями — оставалось загадкой.

Самое важное для нас было знать, результатом чего, собственно, является Дума 6 августа? Общего, неопределенного недовольства страны, сознанный необходимости „реформ“ или же напора активно вмешавшегося трудящегося класса? В первом случае „реформы“ на этом, думали мы, и должны застрять, во втором — это только начало. А если начало, то концом должно быть и падение Шлиссельбурга.

Но тут же прокрадывались мрачные сомнения. 6 августа дан был указ о Думе. А в июле, т. е. несколькими неделями раньше, в Шлиссельбурге рядом с тюрьмой начали строить церковь для заключенных!

Двадцать два года тюрьма простояла без церкви. Если за несколько недель до указа о Думе царь задумал строить церковь для спасения души тяжких грешников (цена 40.000 этому спасению), то, очевидно, что в июле-то „они“ еще и не думали считать „государеву“ тюрьму, а стало быть, и „государево дело“ сыгравшими свою роль.

Как бы то ни было, люди, лежавшие в гробу, отчаявшиеся когда-либо выйти из него, слышали стук.

Как-будто чьи-то сильные руки стараются сорвать крышку гроба. Крышка крепко прибита. Осторожный привыкший к разочарованиям ум говорит: нет, не сорвать, лежи смирно, брось надежды! Спи, сердце!..

Но сердце, разбуженное сильным ударом, не успокоится, не заснет опять.

Мечта всей жизни — день свободы в свободной России — минутами кажется, готова осуществиться.

Но страшно довериться, страшно питать себя надеждами! Только ночи доверяешь их. Темное небо и яркие звезды — немые свидетельницы бесконечных страданий в течение десятков лет — теперь холодно, бесстрастно наблюдают через железные решетки, как на тех же койках те же люди, только уже бледные и белые, как лунь, проводили бессонные ночи, преследуемые неотвязными думами о жизни и воле.

А днем на прогулках — нет, нет — разговор все сведется на тему о том, „что будет, если это будет?“ Одни доказывали, что прекраснейшим образом в Петербурге может заседать Дума, а в Шлиссельбурге — „государственные преступники“; другие доказывали, что если даже и не будет дальнейших побед, все же ко времени созыва Думы, т. е. 6 января, по крайней мере старики должны быть освобождены.

Все старания войти снова в колею, заняться чтением — благо теперь разрешили на оставшиеся собственные деньги выписывать книги, — ни к чему не приводили: жизнь дразнила, жизнь манила.

Числа 20 октября мы заметили среди жандармов какое-то волнение. Сходились группами, перешептывались, замолкая при нашем появлении. Мы насторожились. Но узнать ничего не удалось. В воскресенье, кажется, это было 23-го, во время обеда „телеграмма“---

староста стучит (в Шлиссельбурге принято стучать не в стену, как обыкновенно в тюрьмах, а чем-нибудь в дверь, тогда слышно всем): „важные сообщения—Витте назначен премьером; состав министерства либеральный; обещаны большие реформы¹⁰². Собраться в большом огороде“.

Кто-то стуком отвечает: „Витте¹⁰³ жулик --- надует“.

С другой стороны вносят поправку: „хоть и жулик, все-таки не жандарм. Предлагаю вотировать доверие министерству умного жулика“.

Как только отперли двери „на прогулку“, все бросились в большой огород. По инструкции там собираться можно только вчетвером. Но в этот раз, „в виду перемены министерства“, двоим удалось проскочить зайцами. Жандармы настроены благодушно.

— Идите скорей, парламент уже открыт, только вас недостает, — острит дежурный.

Сзади меня, в двух шагах, идет унтер. При спуске с крыльца мне бросился в глаза его несколько встревоженный вид. Казалось, он что-то хотел сообщить. Я замедлил шаги.

— Ну, 35-й (в Шлиссельбурге заключенных называют не по именам, а по номерам), можете радоваться. Так все по-вашему и вышло, — шепчет унтер сзади.

— Что вышло? — спрашиваю я, не понимая в чем дело.

— Да насчет стен-то Иерихонских, помните? Как говорили, так слово в слово вышло.

(В марте, на дворике старой тюрьмы, когда снег начал таять, жандармы, баловства ради, из снега сбили стену.

— Зря, братцы, эта ваша работа, как и все, что ваше начальство теперь делает.

— Что ж так?

— Солнце правды взойдет — ваша снеговая стена растает, а вот эта каменная рухнет.

— Как рухнет?

— А знаете, как Иерихонские стены — только раздастся глас: правда в мир пришла — так и рухнет, вот увидите.

— И скоро?

— Скоро, следующей нашивки не успеете заслужить).

— Не оглядывайтесь. Через четверть часа идите в первый огород, там удобнее будет.

Иду в „парламент“. Там необычайная сенсация. Оказывается, во время обеда к старосте явился смотритель (помощник коменданта) якобы по какому-то хозяйственному делу, очевидно, чтобы „поговорить“. Необыкновенно мил и очарователен, что не всегда с ним бывает. (Это тоже барометр). Заговорил о течениях в Петербурге. Новый „кабинет“. Премьер Витте. Либеральные министры. Дума изменена — не законосовещательная, а законодательная. Избирательное право расширено. „Вообще настоящий парламентский строй“.

— А свобода печати как? — спрашивают его.

— Пишут обо всем, что хогят. Да последнее время совсем газет не было.

— Как не было? Почему?

— Забастовка ¹⁰⁶. Все типографии бастовали, долгое время без газет были.

Даже „Валаамова ослица“ (так прозвали крепостного врача за его „политическую молчаливость“) заговорила что-то на тему, что, мол, хорошо все вышло: наконец в России будет конституция. Тут же, между прочим, смотритель и врач просили приготовить им, только как можно скорее, так как очень-де нужно, щипцы для сахара и еще что-то в этом роде.

Вот эти-то чрезвычайные события и обсуждались в нашем парламенте.

Раньше всего учитывалось не то, что говорили чины, а как говорили.

В обращении, в освещении фактов, в самой интонации чувствовалось что-то новое. Это первое. Второе—никогда до сих пор смотритель, а особенно доктор, не сообщали никаких существенных новостей, а тут вдруг о перемене курса объявили. Ясно, что что-то такое произошло.

Начали сопоставлять числа—так и есть: 17-го и 21-го табельные дни. Очевидно, к этому сроку был приурочен какой-нибудь манифест.

Но что обозначает забастовка типографий?

Ясно: была какая-то большая стачка.

В большом огороде страстно обсуждается положение дел, высказываются всевозможные предположения, а наверху на вышке ходят дежурные жандармы и добродушно ухмыляются.

Сообщаю товарищам, что скоро, быть может, что-нибудь узнаем, так как жандарм назначил свидание. Отправляюсь в условленный огород. Иду медленно, опираясь на палку. За мной „он“.

— Вот, 35-й, дожили-таки! Иерихонские стены-то рухнули!

— Говорите толком, что такое произошло?

— Да что произошло! Очень просто, вся страна отказалась служить правительству.

— Как вся страна? Кто же именно?

— Известно кто: рабочие—те уж завсегда первые в битву, земство¹⁰⁶, крестьяне, железные дороги, чиновники, словом сказать, все!

— Чего же они требовали?

— Да не хотим, говорят, служить старому правительству, бюрократии, значит, а требуем, чтобы новое было, в роде как от народа.

— Как? И железные дороги? И земство? Вы это наверно знаете?

— Чего не знать? Говорю—вся страна! Не желаем, говорит, служить старому правительству.

— Что ж, вышел указ какой?

— Большой указ, 35-й! Большие свободы объявлены. И амнистия всем ¹⁰⁶.

— Как амнистия, что такое?

— Да освободят, значит, всех, в тюрьмах которые. Всех социан-демокрантов приказано освободить.

— Т. е. как социан-демокрантов? (Очевидно, в канцелярии, разбирая „амнистию“, начальство толковало, что социал-демократы подлежат все освобождению. Унтера приняли это на наш счет). Кого вы называете социан-демокрантами?

— Политические, значит, которые! Вас, примерно, всех, ну и прочих по России которые.

— Да вы откуда это знаете? Может, так болтают только зря?

— Чего зря? Сегодня дежурил в канцелярии, при мне начальство разговор имело: всех, говорят, социан-демокрантов освободят. А нам что! Мы сами рады.

— Что же, так вот просто совсем и освободят? Прямо из крепости на волю?

— Да как же иначе? Я уж и не знаю! Сказано, освободить, значит, они освободить и должны... Тсс... Идите, 35-й, часовой смотрит! Вот тоже псы цепные, своего же брата загрызут!

Мчусь в парламент. В сердце и голове так все и заходило: „отказались служить правительству... Боль-

шие свободы... Амнистия..." Сопоставляешь с заявлениями зрителя, — ясно, что-то произошло.

В парламенте, оказывается, уже получены из другого источника, тоже от унтера, кое-какие сведения, дополнительные к моим. Кто-то робко говорит: „да ведь это, господа, на всеобщую стачку похоже“.

— Ну, уж и выдумали! Это у нас-то всеобщая стачка, да еще с земствами, с банками!.. Тут что-то не то!

— Чего не то? Что им за расчет выдумывать? Смотрите, они сами все сегодня какие-то приподнятые, особенно молодые! Ясное дело, была грандиозная стачка, под давлением ее правительство бьет отбой!

Обсуждали, обсуждали, однако решили, что надо постараться еще собрать сведения.

Разошлись по клеткам. Я пошел в клетку М. Ф. Фроленко. Она помещалась в конце, там удобно было говорить с жандармами. Дежурный на галлерее, очевидно, очень встревожен. Оглядывается по сторонам, нервно ходит около наших клеток.

Несколько раз останавливается и восторженно смотрит на нас.

— Вы что сегодня, точно именинник, сияете? — спрашиваем, улучив момент, когда дежурный на стене пошел в другую сторону.

— Вести уж больно веселые...

— В самом деле? А для кого веселые, для нас или для вас?

— Да я так полагаю, что ежели для вас веселые, то и для нас тоже.

— Уж будто бы?

— А как же по-вашему? Ведь, чай, у меня родные-то есть? А как бы у меня что в деревне было,

нешто я бы за двадцать пять-то рублей на этой собачьей службе был? Нужда заставляет!

— Так вести-то какие?..

— Да ведь вы знаете, нам говорить запрещено,— каким-то невероятно грустным голосом, даже с дрожью, отговаривается жандарм.

— Говорить запрещено? Вот видите, сами говорите, „собачья служба“, т. е. делу-то собачьему служите, наше дело считаете своим, а начальство приказывает вам молчать, вы и молчите?

Жандарм все больше и больше волнуется, указывает на часового и уходит.

Через некоторое время снова подходит.

— Вот, верьте совести, уж так бы хотелось вам все рассказать, да, право же, нельзя — с нас строго взыскивают. Спросите у начальника — он скажет.

— Пойдите вы к чорту с вашим начальником. Мы с народом, а не с начальством. Мы за народ жизнь отдаем—так нам не жалко, а вы боитесь нам хорошее слово сказать.

— Да что сказать? Толком-то я объяснить не сумею. Прямо сказать, рушится все.

— Что рушится?

— Да бюрократия проклятая.

— И уступает?

— Уступишь, когда за горло так схватили, что дохнуть не дают!

— Стало быть, здорово дуют каналью?

— Ого, аж пыль идет! В хвост и в гриву! — с зло-радством говорит жандарм.

— А вы и рады?

— А нам что, скорее бы с дьяволом, с бюрократией покончили, нам бы тоже лучше стало.

— А действительно думают освободить нас?

— Говорят, был в канцелярии разговор, будто манифест какой-то есть. А только что, толком я не знаю. Гуляйте, зритель идет! — тревожно прошептал он и пошел в свой обход.

Принесенные нами известия в „парламенте“ произвели сенсацию. По всему видно было, что произошло нечто решительное. Унтера, по своей наивности, не знают в чем дело, начальство не говорит. Делаем всевозможные предположения. В это время „молва“ приносит новое известие. Оказывается, зритель бродил по галлерее, с очевидным желанием заговорить. Остановился около клетки М. Р. Попова. Конечно, снова затронули „новости“. Подтвердилось старое, кое-что разузнали новое. Зашел разговор о Шлиссельбурге.

— Ведь при конституции Шлиссельбург не может существовать?

— Да существовать-то отчего не может? Только в другое ведомство перейдет, — „успокаивает“ зритель, спускаясь с галлерей, дабы прекратить неудобный разговор. А на галлерее унтер с усмешкой шепчет Попову по адресу зрителя:

— Останется! Врут, идола, вы им не верьте! Всех освободят вас, вот увидите!

В „парламенте“ спорят о том, может ли при конституции остаться Шлиссельбург или нет. Мнения разделяются.

— А по мне, так прекрасно может, — язвит кто-то, пуговицы у унтеров переменяют, вместо „орлов“ понашивают „закон“ — вот тебе и все результаты конституции: будете под „законом“ ходить!..

Однако, как ни старались сдерживать себя, чтобы не было никаких „бессмысленных мечтаний“¹⁰⁷, как

ни старались казаться спокойными и „непридающими никакого значения всей этой жандармской болтовне“, как ни прерывали постоянно разговор — „ну, будет уж об этом! Надоело даже“ — мысль все упорнее и упорнее возвращалась к „жандармской болтовне“.

Разбрелись по камерам и там всякий про себя, не стыдясь насмешливых взоров „пессимистов“ над „оптимистами“, всякий про себя: и оптимисты и пессимисты доверяли свои думы одиноким кельям.

На другой день дежурными были „верноподданные“ — узнать ничего не удалось. Как бы по взаимному соглашению „бессмысленные мечтания“ не затрагивались. И в доказательство того, что ровно никакого значения всей этой болтовне не придают, некоторые занялись раскапыванием парников.

Но и это молчание, и эта яростная работа над парниками, и это небрежное посвистывание — все это было только „так“... на самом же деле, сердце било тревогу, а мысли бороздили ум все о том же и о том же...

Глава десятая

АМНИСТИЯ — В СИБИРЬ

Так прошло два дня. В среду 26-го нам была выдана „свежая“ книжка „Русского Богатства“¹⁰⁸. „Свежая“ — это значит за ноябрь прошлого года.

Было ясное осеннее утро. Солнце грело. Мы с М. Р. Поповым получили книжку на час. Пошли в клетку читать внутреннюю хронику Мякотина¹⁰⁹. „Свежие“ новости были для нас захватывающие. Впервые, этот новый боевой тон! Определенная позиция

открытой защиты „крамолы“. Значит, „там“ ослабло. Потом все эти банкеты, петиции, манифестации октября—ноября 1904 г. нам казались такой „революцией“, что мы едва дышали от восторга.

Восторг наш только несколько умерился, когда дежурный на галлерее, долгое время прислушивающийся к чтению, насмешливо махнул рукой, процедив: „Ну, нашли тоже о чем читать! То ли еще теперь бывает!“

В самый разгар ламентации какого-то земца, призывавшего сплотиться вокруг престола, раздается яростный стук в дверь клетки и через несколько секунд показывается встревоженная фигура Г. А. Лопатина.

— Идите скорее... комендант собирает... амнистия или как там ее к чорту! Нас увозят... Вам 15 лет.

Мы бросились на „сбор“. „Сюда, сюда! На большой огород!..“

В большом огороде уже все в сборе. Комендант, все офицеры, унтера. Стариков, оказывается, увозят, молодым срочным сокращается наполовину, бессрочным на 15 лет.

— Неужели самодержавие рассчитывает прожить еще 15 лет?

— Почем знать? — загадочно огрызается комендант.

— Когда же повезут и куда?

— Распоряжение департамента полиции возможно скорее отправить вас отсюда в Петропавловскую крепость для следования в Сибирь.

— В Сибирь?! Недурна „амнистия“.

Выторговали, что дадут два дня на сборы. Никто, оказывается, не готов. Острят над М. Ф. Фроленко: десять лет делает чемодан (Фроленко специализировался в шлиссельбургских мастерских на чемоданах.

Все отъезжавшие из Шлиссельбурга брали его изделия. Для себя лет 10 готовил, да все другим приходилось отдавать), а теперь пришлось ехать ни с чем, хоть поездку откладывая.

Сначала все стояли, как растерянные. Величественный, так долго жданный момент, появление которого рисовалось „в блеске и славе“, настал. Но настал так серо, так тускло! Что же это за амнистия, вырванная народом? После 20—25-летнего заключения увоз на поселение, а прочим сокращение срока!

Радость момента сразу отравлена. Но зато остра горечь разлуки. Уходить отсюда, оставляя „молодых“ в неопределенном положении, так тяжело. Уходящие чувствуют какую-то неловкость, как-будто они виноваты в том, что мы остаемся здесь.

Ради такого необычайного случая комендант разрешает собираться в большом огороде всем вместе.

Больше всего споров и обсуждений вызывает вопрос—что собственно вызвало „амнистию“? Очевидно, что если правительство уступает, то не искренно, без доверия к „новому строю“. Иначе какой смысл имеет эта половинчатость?

— Ну, это уж так, судьба нашей Руси-матушки— все шиворот навыворот, даже и ход революции,— острит кто-то.

Однако надо собираться. Забирать с собой рукописи, документы и пр. боялись: могут обыскать, тогда все пропадет. Решают оставить нам, так как-де, уже если мы отсюда выберемся, то не иначе, как полноправными гражданами,— ворота настежь, сами потом запрем, да ключ к себе в карман положим.

Начались сборы. Все камеры настежь, дежурные сняты, суета по тюрьме необычайная. Что забрать

с собой, что оставить? За двадцать лет накопилось так много! Со всем этим так сжились, что теперь жалко расстаться даже с этим, казалось бы, хламом. Вечерами, сегодня и завтра, остающиеся будут давать поручения уходящим. „Оказии“ так редки в Шлиссельбурге.

В запертых на ключах камерах, вдвоем, близко, близко друг к другу, озираясь, не подслушивает ли кто, тревожным шопотом остающийся твердит уезжающему. Поручений будет много. Как бы не спутать! Заучивают как урок: завтра будут сдавать экзамен.

Прошел и следующий тревожный день. Всем как-то не по себе. Настала пятница. К двенадцати часам надо быть готовым. Письма к товарищам на волю написаны на маленьком, маленьком клочке бумажки и заделаны в надежное место. Все поручения переданы. Вещи уложены и собраны в коридоре. Уезжающим дали новое белье, бушлаты, халаты и... — чего ни делает „конституция“! — сапоги.

Чуть свет—собрались в большом огороде. „Старики“ уже одеты по-походному. Опять разговор о том, что „там“? Долго ли будут держать в Петропавловке? Неужели запрут в одиночки и будут держать на четвертичасовых прогулках? Этого бы только недоставало для полноты „амнистии“!

Я думаю, нигде так ревниво и упорно не скрывают свои чувства, как в России.

Оставалось два часа до увоза. Момент, несомненно, исключительный. Последние могикане увозятся из Шлиссельбурга. Ведь это как бы символ великой трагедии, разыгрывающейся там—в великой стране. Старики „амнистированы“—со старым режимом как-никак покончено. Но „молодые“ еще остаются: нового режима

пока еще нет, да и неизвестно, будет ли: посмотрим, мол. Что должны были переживать в этот момент и уезжающие и остающиеся!

Но всякий упорно скрывал свои чувства, стараясь казаться совершенно спокойным. Под конец заговорили о пустяках. Вспоминали курьезы. Старались шутить. Смеялись. Но и пустяки, и курьезы, и шутки, и смех— все это было только напускное. То, что всех волновало, боялись затрагивать, о самом главном избегали говорить.

Но на уме у всех было совсем другое. Один вскользь высказывал общую думу— нельзя же уходить так, не попрощавшись с могилами!.. Наступило неловкое молчание. Сделали вид, что не расслышали. Но какой ад должен был быть на душе у них. Конечно, на „кладбище“ не пустят,—зачем же и поднимать этот вопрос?

Перед увозом покормили обедом. После обеда опять собрались в большом огороде. На тюремном дворе выстраивается жандармский конвой. Конвоировать будут шлиссельбургские жандармы и офицеры. Все в караульной форме. Является комендант.

— Ну, господа, распрощайтесь и—в путь.

Исключительность момента заставила нас, как это ни было тяжело и „непривычно“, отпустить их с прощальным словом. В свое время оно было напечатано.

...Мы распрощались. Выстроившийся на дворе жандармский караул окружил их. Начальник пересчитал, все ли налицо. Раздалась какая-то команда, раскрылись двери кордегардии, зазвенели шпоры, и процессия двинулась.

Мы бросились в тюрьму к окошкам, из которых видна дорожка вплоть до внутренних выходных крепостных ворот манежа.

Странную картину представляла эта группа старцев в арестантских шапках, в безобразных тулупах, окруженная живой стеной жандармов.

Все время оборачиваясь к окошкам, к которым мы прильнули, они машут нам шапками и что-то кричат. Расстояние между нами быстро увеличивается. У канцелярии останавливаются. Входят туда. Через несколько минут показываются жандармы, за ними „арестанты“. Машут платками. Направляются к выходу. Вот повернули за угол. Через деревья едва-едва видны синие шапки жандармов. Быстро мелькнул красный платок (в Шлиссельбурге выдавали на каждого по два красных (носовых) платка в год), затем все скрылось.

Какая-то торжественная, необычайная в новой тюрьме тишина... Нет сил оторваться от окошка. Никого не видать, но мысленно следишь за ними. Вот они входят под темные своды. Вдали свет. Непривычный горизонт. Еще несколько мгновений — и ворота остаются за ними, усталая грудь жадно и трепетно вдыхает свежий воздух, вольный воздух!.. Одинокие среди жандармов. О том ли мы мечтали! Мы думали: „свобода нас примет радостно у входа и братья меч нам подадут“!.. А теперы!..

Они оглядываются. Перед ними „государевы ворота“... Когда это было? Ведь так недавно... Было утро... Те же жандармы... Ноги и руки скованы... Те же ворота, та же надпись „государева“, но тогда позади оставалась воля, жизнь. Ворота все приближались и мрак становился все гуще и гуще. Когда это было?... Молодыми, почти юными... они смотрят друг на друга... какие однако они все белые, совсем старцы, — думает каждый про себя... Да, когда это было?... двадцать один год тому назад!.. Двадцать один год!..

.....

Мы остались одни в громадной тюрьме. Через несколько времени донесся отдаленный гудок — то пароходы отходили от Шлиссельбурга с „арестантами“...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

КАРТИНА РОСТА РЕВОЛЮЦИИ

Первые несколько дней и мы, оставшиеся, и жандармы бродили по тюрьме, как „неприкаянные“. Все осталось по-старому. Та же громадная охрана, тот же штаб офицеров, те же вооруженные часовые на стенах. Внутри только, в тюрьме было пусто. В „сарай“ сидели Е. Сазонов и Сикорский ¹¹⁰. Комендант обещал хлопотать, чтобы их разрешили перевести в новую тюрьму. За нами начали ухаживать со всех сторон. Пища сразу улучшилась; прибавили по полбутылки молока в день на каждого. Доктор — классическое эхо настроения „наверху“ — прислал по куску казанского мыла. „Скоро душистые ванны станут нам делать“, — шутили мы.

Должен сознаться — отвратительно было это ухаживание. Цену ему хорошо знаешь. Эти люди в другие времена спокойнейшим образом проделывали самые отвратительные жестокости и, конечно, снова будут их проделывать, как только прикажут, даже не прикажут, а просто захотят наверху. Еще в 1902 году, когда при воцарении Плеве пища стала невозможной, тот же доктор, теперь дававший нам душистое мыло и молоко, на жалобу С. А. Иванова, что пищу эту в рот брать невозможно, ответил: „Ну, знаете, вы все здесь очень привередливы“.

Кое-как начали входить в колею. Мы ждали возвращения коменданта из Петербурга с решением вопроса о переводе Сикорского и Сазонова к нам. Окно моей камеры (№ 40) выходило на крепостной двор, где находились квартиры солдат и офицеров. Из окна видно было, когда со двора направлялись в тюрьму. „Визиты“ начальства происходили обыкновенно во время разноски обеда...

В воскресенье, 6 ноября, вижу, в тюрьму направляется комендант. Зашел в камеру Карповича. Через несколько времени — и очень скоро — раздаются шаги, уходит. Что, думаю, больно скоро? Посмотрел в окно и чуть не остолбенел: по направлению к выходу из крепости, по той же дорожке, по которой недавно увели стариков, шествует Карпович в сопровождении коменданта, офицеров и унтеров. Размахивает руками и махает шапкой. Куда его ведут? Неужели выкрали, куда-нибудь увезут, не дав даже распрощаться? Бросился к двери, позвал дежурного.

— Куда третьего повели?

— Не могу знать.

— Сейчас его видел — с комендантом шли мимо канцелярии.

— Не могу знать! Разве мы что знаем?

Дикая злость охватила всего. „Ну, ладно, пусть только теперь покажутся на глаза, — попадет на орехи!“...

Мечешься по камере, не зная, что и придумать.

— Ведь если решено нас куда-нибудь перевести — не стали бы по одиночке выводить! Не и: аче, как его одного куда-нибудь уволокут! Но почему же именно его? Или, может быть, уже опубликовали наши письма к товарищам и это его выманили в карцер, а потом за мной придут?

В это время открывается дверная форточка и через нее просовывается лукавая морда вахмистра.

— 35-й, смотритель приказал вам сообщить, чтобы не беспокоились за 3-го; к нему мать приехала на свидание...

— На свидание?!

— Так точно.

Если б мне сказали, что „третий“ улетел на небо живым, меня, наверно, это гораздо меньше поразило бы, чем это известие... „На свидание!“ Двадцать один год стоял Шлиссельбург, и ни разу за все это время ни одно живое существо, не принадлежащее к лику святых жандармов, не проникало сквозь эти неприступные стены. Возможность свидания в Шлиссельбурге казалась ни с чем не сообразной. Как? Шлиссельбургского арестанта увидит живое существо, которое потом вернется в живой свет? И стены не рухнут? И отдельный корпус жандармов не повесится?.. О, бедное, бедное самодержавие, как безвыходно должно быть твое положение, если ты вынуждено все это перетерпеть и даже, быть может, быть соучастником.

Через некоторое время явился и смотритель подтвердить, что „за „третьего“ тревожиться нечего, повели на свидание с матерью“.

— И долго там пробудет?

— Так, вероятно, с час.

Повели его в двенадцать; значит, в начале второго будет обратно. Взобрался на окно, чтобы не пропустить его возвращения. Проходит час, проходит два, три — нет. Что за история?! Или они в самом деле что-нибудь с ним сделали и только успокаивают, чтобы оттянуть время? Четыре... пять... все нет. Часов в семь — слышу, как-будто нижняя дверь хлопнула. Шаги. Потом запи-

рают камеру. Дежурный направляется к моей камере. Отпирает.

— 35-й, пожалуйста в гости к 3-му, из деревни гостинцы привезли,—благодуществует унтер.

Лечу к „третьему“. Лицо у него бледное, взволнованное.

— Ну что?

— Да понимаешь, история какая! Свидание с матерью имел!

— Все время? Семь-то часов?

— Все время. У командира и ночевать осталась. Завтра утром будет еще одно.

— Узнал, что нибудь?

— Целый короб новостей. Чудеса да и только!

Да, чудеса, да и только! Это были первые новости из более или менее верного источника. Конечно, источника очень ограниченного, мало осведомленного, но все же, как потрясающи были для нас те известия!

Приехала на лошадях: железнодорожная забастовка. Почта и телеграф тоже бастуют — это казалось нам верхом неправдоподобности. Нельзя сдавать телеграммы, нельзя посылать писем! Объявлены свободы. Повсюду бесконечные митинги, собираются десятки тысяч прямо на улицах. Но повсюду погромы. Кровь льется рекой. Крестьяне за одно с рабочими. Сергей разорван на куски, „едва в платочке кое-что набрали“. Бомбу бросил Каляев. Сейчас после этого вышел указ о народном представительстве. Бомбы и покушения каждый день. В сентябре здесь казнены двое (об этом мы не знали). Требуют полной амнистии, ждут нашего освобождения.

Общий поток увлек и ее, 75-летнюю старушку! Вся надежда у нее на революцию — так как ведь только

революция может спасти ей сына. Да и очертело старое начальство! Невмоготу стало. В армии повсюду брожение. Владивосток разгромлен ¹¹, Кронштадт разгромлен ¹².

Перед нами раскрылся один уголок, маленький уголок громадной картины, и каким величием повеяло оттуда — от Руси, веками покоившейся на „исконных началах“. Нам советовали не тревожиться: дело свободы находится в верных руках, наше освобождение обеспечено. Надо иметь только терпение.

Поволновались несколько дней, стараясь из отдельных, разрозненных сообщенных фактов составить себе общую картину.

Комендант обещал, что Сазонова скоро переведут. Выбрали для них теплые камеры, заставили вычистить, прибрать. Раздобыли „обстановку“. Мы уже к этому времени в общих чертах знали, какое громадное значение имело уничтожение Плеве и горели нетерпением обнять товарища, на долю которого выпало такое редкое счастье. Для нас в данную минуту самым ценным представлялось то, что он каким-то чудом остался жив. Он еще ведь там ничего не знает, что делается в России, то-то огорошим его!

В среду, кажется, 10 ноября, наконец объявили, что в три часа их переведут.

Решили встретить их на прогулке, в большом огороде...

Я обойду это.

Замечу только, что всю глубину радости встречи можно испытать лишь там, в этом месте, оторванном от всего живого. Мы боялись сразу сообщить все, что мы знали: впечатление может быть слишком сильно, психика может не выдержать: ведь от радости можно

также сойти с ума, как от горя. Теперь Сазонову приходилось переживать то, что мне в сентябре. Одно только он был лишен — возможности свидания со стариками.

Опять целые дни и вечера проходили в обмене пережитым: мы — за это время, он — за время до акта 15 июля ¹¹³. Мы зажили тесной семьей, сами не веря своему счастью.

Через несколько дней во время прогулки является смотритель: „к вам отец приехал, пожалуйста на свидание!“ Карпович и Сазонов бросились поздравлять, стараясь шепнуть, какие передать от них поручения. Свидание было для меня большой радостью. За эти полтора года, оказывается, родные не могли добиться даже простого сообщения, где я. Департамент полиции на все вопросы отвечал: „ничего не знаем“. Само собой разумеется, родные считали меня мертвым. Свидание с отцом подтвердило в общих чертах картину роста революции, неизбежность ее победы и что в скором времени можно ожидать нашего освобождения.

И мать Карповича, и мой отец отчасти по неосведомленности, отчасти по инстинкту не открывали перед нами всего пережитого страной. Они сообщали нам скорее результаты, да и то только благоприятные. В сущности, с их точки зрения они поступили очень умно: мы скоро успокоились. У нас получилось впечатление, что все идет „в порядке“, своим чередом, что партии хорошо организованы, что идет планомерная работа и планомерная борьба. Жертв особенных нет. Словом, размеры движения, с одной стороны, суживались, с другой укреплялось убеждение в близком торжестве. И мы, более или менее успокоившись, углу-

бились в занятия, стараясь использовать время „отлучки“: отныне мы считали себя в отпуску.

Но вот, через несколько дней, получил свидание осведомленный, близкий к партийной работе человек. Перед нами развернулась вся жизнь России за последние два года, но развернулась вся, со всеми ее ужасами, со всеми потоками крови, со всей самоотверженной борьбой и зверскими преследованиями.

Ружейный грохот 9 января ¹¹⁴, бесконечные погромы ¹¹⁵, борьба черных сотен, избиение манифестантов, поджоги митингов, все это нам, бывшим вне жизни, казалось каким-то кошмарным сном. Сконцентрированное во времени и пространстве, оно леденило кровь и так давило своею тяжестью, что мы чувствовали себя придавленными необъятными размерами жертв.

Но зато, с другой стороны, размах революции, участие в ней сознательных сил, глубина движения, грандиозность выдвинутых им задач, вызывало радостное изумление. Все казалось так ново, так необычайно! Эти дни свобод, 10-тысячные митинги, народные милиции, Советы рабочих депутатов ¹¹⁶, крестьянские движения, эта самоотверженность, которой были охвачены трудящиеся массы, бескорыстное служение свободе глубоких низов, этот необычайный, казавшийся таким бесконечно далеким подъем, неудержимый порыв к свободе и справедливости — все это так чарующе пленяло мысль и воображение!

Для нас эти известия были снопом света, ворвавшимся в наши потемки и озарившим все так ярко и лучезарно, что непривычный глаз как бы искал защиты от ослепительных лучей. Вихрь, ударивший в склеп и, как осенние листья, разметавший все вокруг.

Мысли, как испуганные птицы, беспорядочно роились в голове, а сердце, радостное, трепещущее, неудержимо рвалось туда, в бой, в схватку!

И этот бой казался таким великим, таким захватывающим, что мы, каюсь, завидовали им, счастливым, все это переживавшим в горниле борьбы.

И какой тяжелой, какой мучительной стала тогда жизнь в нашем невольном убежище, куда громы битвы не долетали. Движение, небывалое по широте и размаху, возрождение народного духа, только раз переживаемое страной, шло мимо нас, как мимо мертвецов. Там кипит борьба, идет смертный бой с издыхающим чудовищем, а мы тут, полные сил и жажды борьбы, вынуждены сидеть в бездействии!

„К мечам рванулись наши руки, но лишь оковы обрели“.

Нас обнадеживали: „ждите, час свободы близок“.

И мы жили, и дышали только этим. Никаких других мыслей, никаких других разговоров. Жили только в мире борьбы,—свободной, широкой борьбы. Но зато, как тягостно бывало пробуждение! Пронесется громы революции, рисуешь себе победное ее шествие, видишь народ—радостный, счастливый, освобожденный,—но со стены раздается окрик часового: „Кто иде-е-ет?“ — смотришь на эти твердыни, целые, неприступные, и в душу прокрадывается холод тревоги и сомнения: Шлиссельбург жив — государево дело еще не умерло!..

Но преобладала уверенность в близком, очень близком крушении всего строя. Мы ждали еще свиданий. Поведение начальства такое, что и оно ждет: не сегодня — завтра освободят. Это было в двадцатых числах ноября. Говорили, что 6 декабря должны последовать „уступки“ и между прочим амнистия.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

СНОВА СПУСТИЛСЯ МРАК

Прошло несколько дней. Свиданий нет. Известий никаких. В воздухе чувствовалось что-то тревожное. Никто ничего не говорил, никаких внешних проявлений не было,—все как-будто по-старому, но нами чувствовалось что-то неуловимое, нечто такое, чего не было раньше. Мы насторожились. В тяжелой неизвестности прошло несколько дней. Настало 6 декабря. Ничего! Прошло 7-е, 8-е, 9-е — все по-старому. Случайно подхватили известие, что 2 декабря все социалистические газеты закрыты за напечатание какого-то манифеста¹¹⁷.

„Началось,“ — думали мы. Мы рисовали себе сцены июльской революции в Париже при попытке королевского правительства закрыть „National“¹¹⁸. Мыслимо ли, чтобы редакции революционных газет подчинились министерскому распоряжению?! Редакции окажут сопротивление, будут поддержаны народом и...

Настали нестерпимо мучительные дни. Маленький просвет, образовавшийся в наших потемках, исчез. Крышка гроба, приподнятая было немногò, снова захлопнулась, и над нами снова спустился мрак. Нам казалось несомненным, что партии вследствие нападения правительства призвали народ к восстанию; что схватка началась, но что пока победа не на стороне народа, так как наши жандармы — и высшие и низшие — „подтянулись“ и держат себя холодно.

Все мысли были направлены только на одно: узнать, что „там“? Мы следили за каждым шагом, за каждым движением жандармов; старались прислушиваться к их

шопоту, ловили их взгляды, — радостные ли они или печальные? И когда мы у них замечали радость, мы тоскливо расходились по камерам... Когда они нам казались печальными, — мы несколько оживлялись и воспаляли духом...

Стоило какому-нибудь жандарму явиться в новой шапке, сапогах, не говоря уже о мундире, — мрачным мыслям не было конца: надеются, значит, еще существовать, если новой шапкой обзавелись! Раз как-то смотритель вернулся из Петербурга в новом пальто. Боже, сколько мучительных дней стоило нам это пальто!

В средних числах декабря мы заметили какое-то необычайное, уже трудно сдерживаемое волнение среди жандармов. В дежурке скоплялись группами, с увлечением читая какие-то газеты. Простаивая у дверей своих камер целыми часами, стараясь узнать, что вызвало среди них такую сенсацию, нам за все время удалось только схватить два слова: „опять стреляли!“

И, конечно, этих двух слов достаточно было, чтобы поднять в нас целый ад. Ясное дело — началось восстание, идет последняя схватка. С нами уж не заигрывают: на нас смотрят, как на врагов. Правда, в обращении нет ничего вызывающего. Администрация просто избегает встреч с нами и держит себя необычайно холодно — „дипломатические сношения прерваны“.

Дни шли, и атмосфера с каждым днем все сгущалась, с каждым днем становилось все нестерпимее и нестерпимее. Мы уже жалели — зачем нам дали эти свидания, зачем нас вывели из нашего мертвого покоя, зачем нас поманили жизнью! И каждое утро мы встречались, успокаивая друг друга — может быть, сегодня придут, может быть, сегодня кто-нибудь получит свидание!

Слух изощрился так, что мы ухитрялись слышать звонок у крепостных ворог (в крепость никого не пропускают. Если кто-нибудь из посторонних приезжает, часовой дает звонок, дежурный докладывает коменданту, последний или его помощник отправляются к воротам и только по личному их приказу часовой дает пропуск).

Крепостные ворота очень далеко от тюрьмы; но, когда ветер благоприятный, при чутком слухе, можно ухватить слабый звук звонка. И между двумя — четырьмя, когда обыкновенно приезжали на свидание, при каждом подозрительном звуке, с тревожным шопотом, „приехали на свидание!“ бросались в камеры к окошкам, откуда видна была дорожка в квартиру коменданта. Отогревая замерзшие стекла своим дыханием, с трудом делаешь кусочек прозрачным. Снег и туман мешают ясно различить. Кто-то идет... Как-будто в штатском... кажется, женщина... „Егор, это к тебе! Вероятно, мать!..“

Ноги устали, с окошка нестерпимо дует, но сойти не решаешься: вот-вот пойдут звать на свидание... Проходит десять, пятнадцать минут, полчаса — идешь понуро опять в огород, чтобы при следующем подозрительном звуке снова броситься к окошку...

Так прошел месяц. Мы совершенно измучились. Режим остался почти прежним. Мы не чувствовали никаких лишений. У нас были камеры, недурной стол, книги. Мы могли работать в мастерских. Но мы чувствовали себя несчастными, и нервы были напряжены до последней степени. Наше нервное состояние, вероятно, чувствовалось начальством, и оно, несомненно, вполне искренно удивлялось нашей „неблагодарности“ — их, мол, ничем не удовлетворишь. И это верно.

Когда люди находятся в безнадежном заточении, их ничем удовлетворить нельзя. У нас было все. Не было только одного: свободы и связи с жизнью. И в отсутствии этого все остальное превращалось в ничто. Мы чувствовали себя несчастными, лишенными всего.

Приближалось рождество. Обыкновенно в первый день устраивали праздничный обед: по кусочку утки или гуся и кое-каких сладостей: несколько апельсинов, яблок и четверть фунта винограду. Размеры и доброкачественность „парадного“ обеда зависели от общей политики и веяний „наверху“. Мы ждали рождества с большим трепетом: тут-то мы узнаем, как обстоят дела „там“.

Эконом явился к старосте спросить, что мы желаем: гуся или утки. Мы возликовали: значит, не все еще погибло: будет гусь или утка, в переводе на язык политики это означает, что никаких особенных перемен не произошло. Но тут же кто-то высказал предположение, что это, быть может, только военная хитрость с их стороны: из желания скрыть перед нами положение вещей, решили пожертвовать гусем. Начали вспоминать прецеденты: оказывается—плохого скрывать никогда не старались. Бывало, что положение-то таково, что гуся уже можно дать, но не давали, чтобы не обнаруживать нового курса, но чтобы, наоборот, положение изменилось к худшему, а гусю не предьявлялся отвод,—этого в практике Шлиссельбурга не случалось.

Гусь—гусем, доказательности его все еще не совсем доверяли. Вопрос должны были решить сладости. С трепетом ждем „показателя“.

Настал первый день рождества. Гусь, каша, пирог,—как-будто ничего дела, — довольно жирные. Но вот судок со сладостями. Дрожащей рукой поднимаешь крышку — и весь холодеешь: один апельсин, одно

яблоко, виноград жалкий, шоколада совсем нет! Гусь, каша, теперь уж не до них! С тоскою перебираешь маленький мандарин, засохшее яблоко и в них видишь символ поражения народа и победы самодержавия.

С трудом дожидаясь, пока отопрут камеры „на прогулку“. Может быть, тут ошибка какая? Может быть, это только тебе так, случайно попала, а у них „показатель“ утешительный?

Уже издали видишь, что ошибки никакой нет. Лица у всех понурые.

— Один апельсин?

— И у тебя шоколада нет?

— Нет! А яблоко тоже одно?

— Одно! И виноград скверный!

— Плохо, значит, „там“?

— Ясное дело! Хотя гусь, вот, ничего, лучше даже, чем в прошлом году.

— Ну что ж гусь? Гусь готовится на кухне! Почему там повар знает? А ведь сладости-то — ими сам комендант распоряжается! Настоящий-то показатель именно апельсины: да вот и шоколаду нет!

Грустные и унылые расходятся по камерам. Но вот, на завтра к обеду вахмистр подает два громадных апельсина! Кто-то стучит: получил апельсины! Все ли получили? Из всех камер летят телеграммы: „и я тоже!“

Что ж это? Значит, не так уж плохо? На третий день та же история: два большущих апельсина, да еще коврижки какие-то!

Снова окрыляемся, снова парим в небесах...

В конце декабря начали вдруг чистить тюрьму, мыть лестницы. Коридоры выстлали дорожкой. Ждут кого-то! Амнистию ли привезет или „законный поря-док“ и водворять начнет?

Глава тринадцатая

ШЛИССЕЛЬБУРГА НЕТ

Постоянная неизвестность так истрепала нервы, что мы решили во что бы то ни стало завязать сношения с жандармами и добиться у них каких-либо известий.

Как я уже говорил, трудность заключается в том, что вы никак не можете остаться наедине с ними. Вас постоянно сопровождают двое. Взаимное шпионство невероятное. Вследствие этого за все время существования Шлиссельбурга ни разу не удавалось установить какие-либо сношения или хотя получение известий.

Но теперь, доведенные до отчаяния, мы решили идти напролом. Всевозможными хитростями, до которых можно додуматься только в тюрьме, да еще при таких исключительных условиях, удавалось несколько минут оставаться наедине.

— Вот, скоро у вас большой праздник будет, — язвись жандарма.

— А что?

— Да ковры-то выстлали, начальство, значит, приезжает...

— А нам-то радость какая?

— Как же не радость? Ведь вы вот для начальства душу продали! Сами сколько раз говорили, что знаете, за кого жизнь отдаем, а вот не повернется же у вас язык сказать нам, что в России делается. Начальство не приказывает, — вы и стоите около нас, как чурбаны, а то и как звери лютые...

— Нам и самим не легко! Верно, что душу продали! Продашь: нужда заставляет...

— А если бы вам предложили за 25 рублей отца зарезать, вы бы зарезали?

— Ну, что вы, что вы! Вот тоже, чего выдумали!

— А, то-то, „выдумали“! Значит, не все уж нужда может заставить делать, покуда совесть есть? Выходит-то все дело в совести!..

— В совести! Конечное дело, в совести! Только уж напрасно вы на нас так нападаете! Нешто уж мы такое дурное делаем? Не мы—другие на нашем месте будут, да еще, может, похуже!

— Вот как! Этак-то и вор и разбойник может сказать, что никакой его вины нет—все равно, мол, вору и убивают: не он, так другой. Так по-вашему?

— Ну, уж вы тоже скажете что! А вот я вас спрошу что: тюрьму-то кто строил? Ваши же рабочие? Ружья кто делает, которыми солдаты в народ стреляют? Рабочие! Про них вы слова дурного не скажете, товарищами величаете! Чем же мы их хуже? Им жрать надо—они тюрьму строят: Нам жрать надо—мы в тюрьме караулим. Все одно выходит.

— Не совсем все одно. Рабочий одной рукой тюрьму пока строит, зато другой тюрьму разрушает, за рабочее дело да за волю бьется. Рабочий только руки продает, но где можно, всегда хорошему делу поможет, а вы не только руки, но и совесть продаете..

— Чем же продаем-то?

— А тем, что делаете свое дело не только за страх, но и за совесть. Ну, служите! Пусть так. А почему же вы никогда ничего не скажете нам, что на воле делается? Разве так рабочий поступил бы когда? Просто, в вас сердца нет, потому и молчите!..

Жандарм был хороший, простой, честный человек. Он невероятно заволновался, обошел несколько раз

галлерею, чтобы убедиться, не подслушивает ли кто, вернулся и шепчет:

— Слушайте, это вы напрасно так про меня... Ну, я вам скажу: вас всех скоро освободят, а нас распустят...

— Как освободят?! Совсем?

— Не знаю. Должно, что совсем... Будто на-днях должно решиться.

— А на воле что делается? Значит, народ победил!

— Да что делается! Все в огне, везде народ поднимается! Такое пошло—не приведи бог...

Все поплыло перед глазами... Через несколько минут мы все сбились в кучу. Тревожно оглядываясь по сторонам, нет ли кого посторонних, делимся необычайными новостями. Освободят?! Этого мы совсем не ожидали. Но как же освободят, если борьба еще не кончена? Сам говорит — „все в огне, везде народ поднимается“... Мыслимо ли в такой момент нас освободить? Решаем испытать—не даст ли газетку, т. е. собственно не решаем, а только мечтаем, не веря в возможность этого. Где уж тут! Примеров не бывало!

Улучили удобный момент, опять заговорили.

— Слушайте, друг! Уж начали доброе дело — доведите до конца. Говорить, сами знаете, неудобно, да и многое вам не ясно... Раздобудьте газетку! Сделайте хоть раз в жизни хорошее дело, увидите — жалеть не будете.

Жандарм смутился. Газета в Шлиссельбурге, это все равно, что в другой тюрьме бомба. Ни за чем так администрация там не следит, как за непроисковением сведений к заключенным. И постоянным напоминанием начальству удалось внушить охране такое отношение к свежим новостям, что сообщение их казалось равносильным самому большому преступлению. Но таково

уж свойство человеческого сердца, — хотя бы и под жандармским мундиром: дрогнув однажды и поддавшись человеческому чувству, оно открыто для добра.

В следующее дежурство при выходе на прогулку шепчет: сегодня я ночью дежурю в вашем коридоре. Под тюфяком найдете газету. Читайте осторожнее; как у дверей кашляну, прячьте. Бога ради не губите, а уж я все сделаю.

День казался вечностью. Считаешь минуты ждешь не дождешься девяти часов вечера, когда разведут по спальням (последнее время, когда в Шлиссельбурге осталось мало народа, разрешалось иметь по две камеры: спальню и рабочую; в спальню уходили в девять часов вечера, а в семь часов утра приходили в рабочую) и сменятся дежурные. Сердце бьется, весь горюшь от ожидания. Неужели там таки будут газеты? Это кажется счастьем, превышающим самые безумные мечтания. Настало наконец девять часов. Разводят по камерам. Стоит невероятных усилий не выказывать своего волнения и спокойно дойти до своей камеры. По дороге обмениваешься взглядом с заговорщиком-жандармом. Дверь камеры запирается, ждешь, пока все успокоится и все, исключая верхнего дежурного, спустятся вниз. Вот спускаются. Громыкает замок нижней входной двери. Тихо. Наконец-то! Дрожа от волнения, поднимаешь тюфяк—газета!!!

Читалась ли когда-нибудь с таким трепетом „Петербургская Газета“ — это была она — на каком-нибудь пункте земного шара?..

Чуть раскрыл — и сразу какой-то холодный ужас пронизал всего насквозь. Номер был старый, середины декабря. На первой странице „рисунок“ к московским событиям“ ¹¹⁹. Артиллерия разносит дома, баррикады.

Повсюду виднеются трупы и раненые. Другой рисунок „на Пресне“. Обстреливаемый дом рушится, охваченный пламенем. Еще несколько в том же роде.

Что за московские события?! Очевидно, там было восстание. Но неужели дошло дело до артиллерии? В тексте отрывочные сведения из „усмирённой Москвы“ и кое-какие из других мест, охваченных восстанием. Дрожа при малейшем шорохе, боясь шевельнуть листом, жадно глотаешь газетные строки, весь горя от развертывающихся картин. Смертью и ужасом веет от них! И жертвы—это видно уже и теперь—напрасны. Правительство побеждает. Петербург спокоен, очевидно, это только изолированное выступление...

Долго, бесконечно долго тянется мучительная ночь... Снова вихрь, бушующий там, за стенами тюрьмы, подхватывает тебя и, как песчинку, несет и треплет. Снова камеры наполняются грохотом битвы, лязгом мечей, едким дымом, тяжкими стонами... пахнет кровью... и трупы, трупы... И все жертвы, только жертвы...

Под утро на прогулке начали обсуждать, как устроиться с чтением. Читать по камерам — невозможно, так как жандармы непременно так или иначе накроют. Решили наскоро, в углу большого огорода, где имеется навес, сбить из рам для парников род беседки.

Сбили, вышло на-славу. Стекла там мутные, издали ничего сквозь них не видать, что внутри делается. Это была наша лектория. Рассаживаемся кругом, лектор посередине, заслоненный со всех сторон облаченными в громадные тулупы слушателями.

Раздельно, но тихо, чтобы жандармы не подслушали, читаются захватывающие новости. Едва дышим. Под тяжестью развертывающихся событий головы опускаются все ниже и ниже. Порою прорывается не то

вдох, не то сдавленный стон. Лица становятся бледные, глаза влажные, горло что-то сдавливает. Кончилось чтение. Тихо. Жутко. Веет смертью. Все молчат—страшно заговорить. Как у гроба дорогого покойника. Потом расходятся и по узеньким дорожкам большого огорода, обутые в громадные валенки, угрюмо и молча шагают „на прогулке“ арестанты. Кругом все засыпано снегом, сплошными стенами окружающим дорожки.

С озера свищет буря, злобно и яростно завывая в клетках-огородах. Низко-низко несутся, точно громадные чудовищные птицы, темные грязно-свинцовые тучи. В расщелинах стен, жалобно пища, притаились дрожащие всем своим маленьким тельцем воробушки. По стене, засыпанной снегом, укутанный в громадную шубу, как темное привидение, гулко шагает с винтовкой часовой, один нарушавший тишину каким-то яростным выкрикиванием: „Кто..о идет..е..ет?“

Так же молча и угрюмо расходятся по камерам, и перед беспомощно лежащими на тюремных койках долго-долго проносится образ терзаемой правительственной вакханалией страны...

Легка борьба. В дыму, в огне битвы бойцы не замечают жертв. Впереди враг. И на этого врага устремлены все помыслы и чувства. Редуют ряды—они смыкаются и снова в бой. На могилах стоять некогда, некогда павших считать.

Не то в неволе. Здесь во всем своем обнаженном ужасе выступают жертвы борьбы. Все мы были из строя, когда борьба только начиналась. Каждая могила бойца была святыней и оплакивалась всей партией. Теперь этих могил сотни, тысячи. Виселицы, расстрелы, карательные экспедиции... все это казалось так дико, так чудовищно... Каждая жертва революции стоит, как

живая, и этих жертв так много, что они заполняют собою все.

Мы ходили убитые, подавленные, внешне стараясь казаться беспечными, чтобы жандармы не заподозрили чего.

Но как ввязать сообщение нашего благоприятеля-жандарма о скором освобождении с известиями о восстаниях и усмирениях? Очевидно, что-нибудь тут путает.

— Ну, что, насчет нас известно что-нибудь?

— Да толком ничего не знаем, скрывают, анафемы! Только все разговор идет, будто вас освободят.

— Освободят?!

С одной стороны, газетные известия одно другого мрачнее, одно другого зловещей, а с другой стороны, это ни с чем несообразное утверждение о скором освобождении совсем перепутало все наши мысли и, заставляя прислушиваться к каждому движению, к каждому шопоту, держало все время в мучительном напряженном состоянии.

В средних числах января опять тревога в крепости. Снова какое-то начальство приехало. Нас заперли по камерам. Мы слышим, как начальство ходит по всей тюрьме, что-то меряют, что-то считают. Вечером до поздней ночи взолись внизу в камерах-мастерских. На следующее утро мчимся в мастерские, — так и есть — все инструменты убраны и аккуратно сложены в одно место.

Сдают крепость по описи!

Жандармы ходят понурые, тоскливые. От нескольких удалось вырвать признание: жандармам приказано подыскивать себе места — штат распускается; комендант и офицеры тоже хлопчут о местах. Но что же с нами

будет?! Никто ничего не знает. Через несколько дней прочли в газетах указ об уничтожении Шлиссельбурга, как государственной тюрьмы. О нас ни слова.

Потом наш приятель раздобыл нам сведение: нас будто бы уже в первых числах января должны были увести, но не решаются из-за аграрных беспорядков, да и места в тюрьмах нет. Пожалуй, продержат здесь до весны. Повезут будто бы не то в Архангельскую губернию, не то на Кару! Нас так истомило это неопределенное положение, что рады были хоть в самый ад, только бы что-нибудь определилось.

Начальство все время не показывалось. 29 января, в обед, вдруг является комендант со свитой.

— Ну вот, укладывайтесь и вы теперь.

— Как? Куда? — делаешь вид, что ничего не знаешь.

— Крепость уничтожается. Всех вас переводят пока в Москву.

— А дальше?

— Пока ничего не известно. Вероятно, в Москве вам придется посидеть некоторое время.

Комендант, очевидно, очень недоволен уничтожением Шлиссельбурга.

— Вот прокричали все газеты — застенок, застенок, ну, и докричались! А чем здесь плохо? Ни в одной тюрьме вам не будет так хорошо, — соболезновал комендант о нашей участи.

— Ну, как-нибудь проживем, — язвили мы.

Завтра вечером в дорогу! Опять странная „амнистия“ — из Шлиссельбурга на каторгу.

Но волнение сильно охватывает нас: все же будет что-то другое, все же, хоть и через решетку, а увидим вольный мир? Каков-то он теперь? Сборы быстро кончились. Увозить назначено на завтра в шесть часов

вечера. Прошла полная тревог и упорных дум о прошлом и невольных мечтаний о будущем последняя ночь в Шлиссельбурге. К вечеру собрались все вместе и устроили в камере прощальное чаепитие.

Тени Александра III, Толстого и Плеве, — как они в этот момент должны были скорбеть! В Шлиссельбургской камере „арестанты“ вместе чай пьют и о падении самодержавия превратные толкования ведут!

Жандармы вынесли вещи. Явился комендант. Угрюм и сосредоточен. Мы вспомнили лучезарное настроение начальства в октябре, при увозе стариков и невольно улыбнулись: видно, революция-то в серьез пошла и флиртование кончилось! Пошли сетования о том, что „у нас ничего толком не может выйти“, что „вот, все, кажется, было дано, а непременно нужно им сейчас же „республику по Карлу Марксу¹²⁰“, что жить стало теперь невозможно, того и гляди, бомбой тебя угостят, и все такое прочее, в том же роде. Наши приятели жандармы, стоя позади коменданта на вытяжку, лукаво подмигивают нам: „кончилось, мол, беспечное начальническое житье“...

Вахмистр явился с докладом, что „все готово“. Настает до известной степени исторический момент: последняя минута Шлиссельбурга. Мы облакаемся в большие тулупы и валенки и выходим на двор, весь запруженный жандармами. Направляемся к выходу. Гул шагов и звон шпор резко звучат под темными сводами ворот. Раздается какая-то команда — ворота распахиваются. Все кругом засыпано снегом — вдали чернеет Нева. У берега дожидается лодка с гребцами-жандармами.

Яркий зимний вечер. Черные, как расплавленный свинец, тяжелые волны (у крепости течение Невы такое быстрое, что она там никогда не замерзает) лениво

бьют о борт лодки. С темного мрака воды хмуро поднимаются засыпанные снегом стены крепости. Зловещая Иоанновская башня.

— Вот, смотрите, тут налево все и похоронены, — шепчет сзади жандарм.

Впиваешься глазами, ищешь каких-нибудь следов — ничего не видать: небольшой клочок земли между водой и стенами Иоанновской башни, засыпанный снегом. Под взмахами гребцов лодка быстро удаляется от крепости. Тяжелое гробовое молчание. Всякий про себя думает свою скорбную думу о прошлом этого скорбного места, о тех, чьи засыпанные снегом могилы остаются теперь одинокими в этом одиноком углу.

С воды поднимается тяжелый ледяной туман, все больше и больше окутывающий крепость. Виднеются лишь уже неясные контуры. Серая мгла застилает все, и крепость сливается с этой мглой.

Шлиссельбурга нет...

Глава четырнадцатая

РАССКАЗЫ ОЧЕВИДЦЕВ О ПЫТКАХ И СМЕРТИ

На берегу нас ждут тройки, с веселым гиканьем вмиг примчавшие нас к станции Ириновской дороги. Там дожидается уже экстренный поезд. Через полтора часа мы в Петербурге. Вся станция запружена шпионами и полицией. Вдали виднеются конные жандармы и городовые. У вокзала, на площади, пять карет, окруженных плотной цепью верховых. Мы рассаживаемся и под охраной эскадрона жандармов несемся на Николаевский вокзал.

С трудом незаметно протираешь кружочек в замерзшем стекле кареты. Магазины открыты, но улицы пустыни. На перекрестках сильные наряды пешей и конной полиции. Ни живой души. Охватывает какая-то жуть. „Мертвый город“... Кое-где пугливо приоткроется дверь магазина, и из нее с тревожным недоумением глядят люди на мчащиеся под эскортом жандармов кареты.

Ни одного привета, ни одного возгласа. Где же она, восставшая Россия, где же он, мятежный Петербург?..

Примчали на товарную станцию Николаевской дороги. Там военные полковники и генералы, жандармские полковники и генералы, полицейские полковники и генералы и шпионы, шпионы — без конца. В дальнем углу станции приготовлен арестантский вагон. Нас вместе с жандармской охраной ввели туда и часа два продержали на запасном пути.

Потом, когда вагон прицепили к поезду и подали к станции, обилие жандармов, очевидно, привлекло внимание публики. На площадках вагона смежного поезда показались рабочие картузы, студенческие фуражки, замелькали сочувственные лица. Но „беспорядок“ был вскоре замечен, явился патруль и водворил спокойствие и тишину.

Поезд тронулся, сопровождавшие нас офицеры, проверив посты, ушли к себе в купе. Конвоировали нас шлиссельбургские жандармы — 12 унтерсв. Отношения у нас с ними были хорошие. Нам предстояло провести вместе последнюю ночь.

И это была удивительная ночь, полная глубоких неизгладимых впечатлений.

— Надо бы правовой порядок-то спать уложить, — говорит один унтер другому.

— Какой правовой порядок? — спрашиваем мы.

— А это, значит, мы на партии так делимся, — лукаво отвечает унтер. Наша компания — это левые, а те — „правового порядка“.

— Верноподданные?

— Во-во! Просто, сволочи!

„Правовой порядок“, как и подобает истинно русским людям, веселие коих есть пити и ясти, засел за трапезу, а вскоре разлегся в смежном отделении, громким храпом свидетельствуя преданность свою „престолатечеству“. Караул заняли „левые“.

Часа два ночи. В закопченном фонаре тускло горит свеча, едва освещая контуры вагона. Поезд, пыхтя и громокая, несется по снежной равнине. Мы все — арестанты и они — конвойные жандармы, — сбившись в одну кучу, тесно прижавшись друг к другу, растроганные, взволнованные, шопотом, тревожно оглядываясь на дверь, ведем „запрещенную“ беседу. Жандармы открывают нам тайны Шлиссельбурга.

То, чего они не решались касаться там, в Шлиссельбурге, они торопятся передать нам в эту последнюю ночь. Это была удивительная сцена, — эти многочасовые разговоры с блестящими глазами, с дрожащим от волнения голосом. Все казни, все смерти, все пытки прошли перед нами в рассказах очевидцев.

Вот что, между прочим, удалось узнать о Качуре. Он прибыл в Шлиссельбург бодрый, здоровый, веселый. Через некоторое время потребовал работы в мастерской. Когда ему отказали, указывая, что первое время заключенные должны проводить в полном одиночестве и бездействии, он заявил, что заставит выполнить его требование и объявил голодовку. Прошло дней шесть. Видя его упорство, жандармы сдались

и в одной из камер устроили для него мастерскую. Это было в апреле 1903 г. Качура работал с увлечением. Месяца через два завязывается интрига совершенно непонятного свойства. К сожалению, сами жандармы знают о ней в самых смутных чертах. Вот что им известно.

В июне месяце, в одну из суббот, когда Качуру повели в баню, в камере дежурный жандарм, по обыкновению, произвел обыск. Где-то была обнаружена за-прятанная записка, будто бы от моего имени к нему, Качуре (само собою разумеется, никакой записки я Качуре не посылал. Если записка действительно ему была доставлена, то это дело рук департамента полиции или Трусевича. Содержание записки напрашивается само собою и все дальнейшее становится понятным). О чем говорилось в записке, они не могли допытаться. „Найденная“ записка была представлена коменданту. Вскоре после этого комендант явился к Качуре и, выслав жандармов, заперся с ним наедине. О чем был разговор — они не знают. Комендант оставался часа два. Через несколько дней разговор при такой же чрезвычайной обстановке повторился.

Настроение Качуры сразу изменилось. Он стал сосредоточен, угрюм. Через некоторое время в Шлис-сельбург прибыл какой-то судейский (по описанию — Трусевич). Он поместился в какой-то комнатке у манежа (очевидно, избегая канцелярии, так как проходящие туда видны заключенным в новой тюрьме и всем живущим в крепости). В двенадцать часов дня, когда сменяется караул, Качуру передевали в жандармскую форму и вместе со всеми унтерами он проходил через тюремный двор к приезжему судейскому. Всем строго-настрого приказано было удалиться и близко не подходить. Беседа

тянулась целый день. О чем говорилось, — несмотря на то, что все были крайне заинтригованы, — никто не знал. Офицеров и коменданта тоже не допускали.

Это в течение июня—июля повторилось несколько раз, пока Качуру вдруг неожиданно для всех их не увезли в Петропавловскую. Через некоторое время его привезли обратно. Он вернулся совершенно подавленным и в таком состоянии находился до зимы, когда его уже окончательно увезли. С жандармами не разговаривал, почти не отвечал на вопросы, бросил работать в мастерской, перестал читать книги, даже от прогулок часто отказывался. В камере на столе остались некоторые надписи, говорящие о каком-то душевном надломе. Так, в одном углу выцарапано: „погибло все, чему я в жизни поклонялся“... „душа пуста, душа мрачна“... „о, думы, думы, надежды и желания, погибли вы!“... и проч. все в том же роде. Вот все, что удалось узнать о нем.

Все они присутствовали при казнях в Шлиссельбурге и вот что они рассказывают о последних минутах казненных. Их рассказы, как очевидцев, следует считать единственно верными и совершенно уничтожающими многочисленные рассказы охочих людей, в роде фантастического кающегося жандармского офицера, поместившего свои фельетоны, полные лжи и вымыслов, на страницах „Русских Ведомостей“.

Степана Балмашева привезли утром, часов в десять и провели в канцелярию. Держал себя твердо, спокойно. Не доходя канцелярии, увидав новую тюрьму, начал размахивать шляпой. Днем пил чай, обедал. Вечером его провели в старую тюрьму и поместили в одной из камер, недалеко от камеры, где уже под замком сидел палач.

— Когда нужно будет, не забудьте меня разбудить, — с усмешкой сказал Степан Балмашев дежурному и лег спать.

В четыре часа утра в его камеру явился товарищ прокурора окружного суда „со свитой“. Балмашев спал, и его долго не могли добудиться. Наконец приоткрыл глаза и досадливо спрашивает.

— Ну, что? Чего вам там нужно?

— Вы такой-то?

— Я!

— Вам известно, что вы приговорены с.-петербургским военно-окружным судом к смертной казни?

— Известно.

— Приговор вошел в силу и сейчас будет приведен в исполнение.

— А, да! Ну, хорошо, хорошо...

Опять лег на подушку, закрыл глаза и как бы заснул. Его снова разбудили.

— Да вставайте же! Уже все готово!

— Хорошо, хорошо! Вот сейчас!

Снова ложится. И так несколько раз. Наконец приподнялся и с усмешкой говорит:

— Так вставать? Все готово? Ну, вставать, так вставать!

Он оглядывает камеру. Перед ним в вицмундире представитель закона — прокурор. Дальше — исполнитель закона, палач Филиппьев. Он весь с ног до головы в красном: красная шапка, красная блуза, красные шаровары. В одной руке веревка, в другой плеть. Лицо зверское — серое, одутловатое, с мутными, налитыми кровью глазами. Он подходит вплотную к своей жертве, поднимает над головой плеть и рычит: „Руки назад! Запорю при малейшем сопротивлении!..“

Веревкой скручивают руки, и процессия направляется из камеры в маленький дворик, между крепостной стеной и старой тюрьмой — у Иоанновской башни. Там уже „все готово“. Эшафот, тут же вырытая яма, у нее черный ящик — гроб. Дворик наполнен начальством и жандармами. Балмашева вводят на эшафот. Секретарь суда читает приговор. На эшафот поднимается священник с крестом. Балмашев мягко отстраняет его: „К смерти я готов, но перед смертью лицемерить, батюшка, я не хочу“.

Место служителя бога занимает служитель царя — палач. Балмашев стоит прямо и спокойно, с своей вечной, слегка грустной, слегка насмешливой улыбкой на устах.

Палач накидывает на голову капюшон савана, затем петлю. Ударом ноги вышибает доску, тело грузно падает вниз. Раздается глухой стон. Веревка натягивается и трещит. Тело вздрагивает и передергивается конвульсиями. Ноги упираются в помост — смерть идет медленно. Палач крепко обхватывает тело и с силой дергает вниз. Присутствовавших охватывает ужас. Жутко, гадливо, стыдно. Раннее, ясное утро. Солнце только что поднялось, и его мягкие золотистые лучи бьются о перекладины виселицы. Кругом свежая яркая зелень. Птички весело чирикают, с озера доносится писк чайки. А люди в мундирах, с орлами на пуговицах, угрюмо стоят, потупив глаза, бледные, взволнованные, и ждут, пока тело, облеченное в саван и повисшее на веревке, перестанет вздрагивать. Ждут долго — бесконечно долго — до получаса.

Палач принимает в свои объятия тело, обрезывает веревку, кладет труп на помост. Подходит доктор слушает сердце — все в порядке: сердце не бьется. Труп кладут в ящик, обсыпают известью, покрывают крышкой.

Удар молота злобно прорезывает утренний воздух: то прибавают крышку гроба. Ящик опускают в вырытую тут же яму, засыпают, подравнивают с землей и медленно, стыдясь глядеть друг другу в глаза, расходятся.

Царское правосудие совершилось.

Тюрьма в это раннее утро не спала. Появление Степана Балмашева было замечено. Было замечено также, что на дворике старой тюрьмы сколачивают что-то из досок.

„Эшафот строят“, — прожгло всех.

Всю ночь стояли у оконных решеток. Видели, как под утро в старую тюрьму прошло начальство. Через час в церковный садик из старой тюрьмы прошел старик священник. Согнутый, жалкий, еле передвигая ноги, беспомощно опустился на скамейку, склонив голову в упирающиеся в колени руки. Через некоторое время чуткое ухо Антонова услышало отдаленный звук. Опытный кузнец различил удар молота о железный гвоздь, и тюрьме все стало ясно!

.....

Почти ровно через три года произошла вторая казнь — И. П. Каляева. Об этой казни уже много писалось, и в общем она описана верно. Палачом был тот же Филипьев. По описанию жандармов, это удивительное создание. Был когда-то офицером, совершил какое-то невероятно гнусное преступление, был приговорен к смертной казни, но за готовность быть палачом политических — помилован. Для Балмашева долго искали палача, пока наконец не попали на Филипьева, сидевшего тогда в какой-то кавказской тюрьме. Его под конвоем доставили в Шлиссельбург.

Все время, в ожидании исполнения своих обязанностей, большими стаканами пьет водку. Образ совер-

шенно звериный. И этот человек, несмотря на то, что получает за каждый „выезд“ по 100 рублей, невероятно тяготится своими обязанностями. По службе быстро теперь повышается. На казнь Каляева приехал уже под охраной одного только жандарма, а через несколько месяцев — на казнь Гершковича — и без всякой охраны: заслужил доверие власти.

Маленькая, почти невероятная подробность: после казни Каляева Филипьев начал ходить в офицерском мундире, с „Георгием“ в петличке. В таком виде он прибыл в сентябре на казнь Гершковича, крайне смутив жандармов. Это — невинная слабость „старика“, на которую доброе начальство смотрит сквозь пальцы. Филипьев просил разрешить ему это „единственное утешение“, и начальство решило выполнить просьбу полезного человека. Офицер, с „Георгием“ в петличке, приезжает в крепость с маленьким узелком, в котором увязан его настоящий мундир — красное одеяние, плетъ и веревка.

И. П. Каляева привезли не в канцелярию, а в приемную, в манеже. Там он пробыл целый день. Долго ходил взад и вперед по комнате, потом сел писать. Исписал целый лист бумаги, но после некоторого размышления облил чернилами и изорвал. Потом лег на койку. Его знобило. Он попросил чего-либо теплого накрыться, заметив жандармам: „вы не думайте, что я дрожу в ожидании смерти — мне просто холодно“.

Днем из канцелярии несколько раз ходил к нему какой-то чиновник с бумагами, повидимому, предлагал подписать прошение о помиловании. Ночь провел здесь же, в манеже. Под утро явились власти: прокурор, палач в красном одеянии, жандармы и проч. И. П. был одет и не спал.

Прокурор объявил, что приговор скоро будет приведен в исполнение. Палач связал руки, и процессия двинулась к месту казни — в дальний угол крепости, между манежем и баней. И. П. шел с гордо закинутой назад головой, на эшафот поднялся гордо и спокойно. Крест целовать отказался, но поцеловал священника: „я вижу в вас просто доброго человека“.

Палач и на этот раз оказался российским палачом. Петля была накинута скверно и тело билось в судорогах.

Сцена была такая потрясающая, что присутствовавший при казни начальник штаба корпуса жандармов барон Медем зарычал на палача: „Я тебя, каналья, прикажу расстрелять, если сейчас не прекратишь страданий осужденного“.

Через полчаса тело вынули из петли, положили в черный ящик и закопали за крепостной стеной у Иоанновской башни. Зимой там лежат дрова, летом пасется скот.

Там похоронены все умершие и казненные в Шлис-сельбурге, кроме С. Балмашева. Могильных насыпей нет. Все сравнено с землей.

Последние две казни были в сентябре 1905 года. О них мы долгое время даже не догадывались. То были казни Васильева и Гершковича. Следует отметить, что Васильев не „политический“. В нетрезвом виде, из личных мотивов, он застрелил околоточного. Но это совпало с диктатурой Трепова¹²¹, когда власти во что бы то ни стало нужна была для острстки казнь. Тупая злоба правителей придиралась к этому невинному, чуждому политики рабочему. Не удивительно, что Васильев все время умолял начальство сжалиться над ним, „не губить“ его, просил у царя милости.

Милости этой у царя не нашлось, и он был казнен.

Привезли их отдельно и в крепости держали врозь. Гершковичу не говорили, что его везут на казнь, и в эту ночь он казни не ждал. Он несколько удивился, увидев часа в четыре ночи около своей койки прокурора, а за ним палача в красном. Но, сообразив, в чем дело, он быстро оправился и гордо, отважно пошел навстречу эшафоту.

Стоя в саване, он спокойно слушал томительное чтение приговора. Когда оно кончилось, он, точно с трибуны, окинул всех презрительным взглядом и сказал: „Вы собрались смотреть, как я буду умирать? Смотрите — я спокоен... Я умираю за свободу...“

— Палач, кончать! — крикнул комендант.

Произошло замешательство. Обращения с эшафота никто не предвидел, а допустить такое отступление в ритуале нельзя было. Палач накинул капюшон, потом петлю, выбил доску, раздался не то крик, не то стон, и тело в саване закачалось. Оно билось долго. Особенная ли жизненность молодого организма или петля опять была плохо накинута, но когда Гершковича через тридцать минут вынули из петли, в нем еще теплилась жизнь. Крепостной врач, подойдя к трупу и выслушав сердце, конечно, сделал знак, что „все благополучно“ — можно хоронить! Но когда начальство удалялось с места казни, жандармы слышали, как врач говорил коменданту: „Собственно говоря, сердце еще слегка билось“.

Это „собственно говоря“ бесподобно по своей этической наивности.

Странно, ни одна казнь не произвела на жандармов такого потрясающего впечатления, как казнь Гершковича. Было что-то особенное в этом юноше, которого

они иначе не называли, как „герой“. Особенно их потрясли его слова с эшафота. Все передавали эти слова с той же удивительной точностью: очевидно, они глубоко врезались в эти простые души...

Ночь надвигалась все дальше и дальше, поезд громы-хал, а мы с затаенным волнением жадно вслушивались в скорбную повесть шлиссельбургской летописи.

Выяснилась любопытная подробность. Сейчас же после нашего процесса, очевидно, после бесплодного посещения Макарова, в Шлиссельбурге получилась телеграмма с приказом поставить виселицу. Дело потом повернулось иначе. Казнь почему-то была отменена, но об отданном распоряжении забыли. Виселица простояла больше полугода, и ее сняли уже после того, как перевели в Шлиссельбург...

Глава пятнадцатая

В ОЖИДАНИИ БУРИ

Часов в пять утра караул сменился. На дежурство стал „правовой порядок“, и мы могли кое-как расположиться на отдых.

Когда начало рассветать, мы бросились к засыпанным снегом окнам вагона: какова-то она, „новая Россия“? Мертво, пустынно, безлюдно. Настал день. Ужасом давил вид проезжаемых станций. Нигде ни живой души. Сторожа какие-то запуганные. Жандармы с винтовками за плечом и солдаты с примкнутыми штыками. Точно в завоеванной стране, занятой еще неприятельскими войсками! Такой ли мы рисовали себе восставшую страну!

Чем дальше к Москве, тем меньше жизни, больше солдат! Попадались драгуны, казаки. Видно, что желанные нагайки — здесь высший закон.

Что-то нас ждет там в пересыльной тюрьме? В Шлиссельбурге мы сжились; начальство скандалов не хотело, и жизнь с этой стороны текла мирно. По существу мы — лишённые прав, каторжане. Начальству может заблагорассудится показать над нами свою власть, это значит — бесконечная, упорная война. Мы сговорились на первых же порах отстаивать свое положение, войны не вызывать, но если администрация ее вызовет, — не сдаваться и идти последовательно до конца.

К вечеру приблизились к Москве. Наш вагон отцепили и отвели на какой-то другой путь. Через некоторое время явился жандармский полковник с офицером; у полотна ждал целый эскадрон. Наш караул запротестовал: они-де имеют приказ сдать только тюремному начальству, в здании самой тюрьмы. Долго велись переговоры, пока порешили на том, что эскадрон отправится к тому месту, где мы будем высаживаться и будет эскортировать нас, а в каретах повезет шлиссельбургский конвой.

Долго возили вагон взад и вперед, потом повезли по какой-то ветке. Слышны свистки, команда, ржание лошадей.

После бесконечной возни, проверки, наконец предложили выходить: каждый арестант с одним офицером и двумя унтерами. Вышли. Чистое поле, засыпанное снегом. Вдали дорога. Там кареты. От вагона до карет сплошная шпалера полиции и конных жандармов, вооруженных винтовками. Уселись в кареты, окруженные тесным кольцом верховых и куда-то понеслись.

Ехали долго. Наконец въезжаем в какие-то железные ворота, к подъезду, залитому электричеством.

Тут тоже бесконечная полиция, какие-то офицеры, штатские. Вводят в какой-то громадный сводчатый не то зал, не то сарай. Это, оказывается, так называемая сборная Бутырской тюрьмы. Полумрак, грязные, запыленные стены. Избитый каменный пол. По углам валяются кандалы. Вдоль стен скамейки. Под охраной нашего шлиссельбургского конвоя мы заняли место в углу. Расселись, невольно плотнее держась друг за друга.

Начались бесконечные формальности приемки.

Наш офицер ведет переговоры с начальником тюрьмы.

— Камеры приготовлены?

— Да, конечно, по телеграмме,

— Общие?

— Нет, секретные.

Для начала недурно! Значит, они нас здесь будут держать в одиночках!

— Вещи сдадите им на руки?

— Нет, пока все останется в цейхгаузе, кроме подушки и халата. Там потом видно будет.

Повидимому, нас собираются здесь скрутить! Мы наскоро шопотом сговариваемся о „линии поведения“ и невольно становимся в боевую позицию. Атмосфера напряженная.

Приемка кончилась. Дежурный расписался в получении пакета и пятерых арестантов.

Шлиссельбургские офицеры издали с нами попрощались; мы ответили им довольно холодно. Шлиссельбургский конвой должен был передать нас бутырскому. Жандармы окружили нас полукругом. Хотелось с ними,

особенно с „левыми“, распрощаться тепло, но мы боялись подводить их и сидели, угрюмо насупившись. Офицер скомандовал расходиться, и тут произошла сцена, глубоко нас взволновавшая. Все двенадцать унтеров звякнули шпорами и взяли перед нами под козырек, громко, отчетливо гаркнув: „Счастливо оставаться!“

Мы приветливо сняли шапки и крикнули им: „До свиданья, до свиданья!“ Конвой весь, как по команде, снял шапки и низко нам поклонился: „Не поминайте лихом!“

Шлиссельбургское и бутырское начальство вытаращило глаза и с недоумением смотрело на эту неожиданную манифестацию. Старший скомандовал: „Полуоборот направо, марш!“ Двинулись по шеренге, по несколько раз оборачивались в нашу сторону и махали шапками. Мы отвечали им тем же. Уже у самых ворот они еще раз обернулись, сняли шапки и прокричали: „Счастливо оставаться!“

Мы замахали им в ответ красными шлиссельбургскими платками.

Нас принял дежурный офицер и повел тюремным двором в наше помещение. Было часов двенадцать ночи. Тюрма уже спала.

Прошли бесконечно длинный двор, отперлись одни ворота, потом другие, железные.

— Куда нас ведете? — спросили мы офицера

— В пугачевскую башню. Вы будете там одни.

— Во всей башне?! Ведь она на сорок человек.

— Кроме вас, там никого не будет.

Открылась маленькая железная дверь и по винтовой железной лестнице екатерининских времен нас развели по камерам.

Камеры узкие, длинные, полукруглые. Освещается только один угол. Вся камера утопает во мраке. Пол каменный. Грязь невероятная. Напоминает старый запущенный подвал. По стенам стоят широкие лавки, на них мешки с соломой — это койки. Воздух спертый, удушливый. В углу параша.

Рассадили по всем трем этажам. Тихо и зловеще.

„Будет буря“, — выстукивают в верхнем этаже.

„И поборемся мы с ней!“ — отвечают снизу.

Где-то бьет полночь...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

МОЙ ПОБЕГ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ВСЕ МЫСЛИ — БЕЖАТЬ

Для всякого понятно, что с первого дня перевода из Шлиссельбурга все мысли были направлены на одно: бежать!

В Москве в первые два месяца ничего нельзя было предпринять из-за больной ноги. Затем охрана тюрьмы так усилилась военными и всякими иными караулами, что пришлось оставить всякие мысли о побеге.

Увезли нас неожиданно.

По прибытии в Акатуй сейчас же приступили к устройству всевозможных планов.

Против ожидания оказалось, что бежать оттуда гораздо труднее, чем можно было думать. Трудности увеличивались еще тем, что до осени заключенные широко пользовались выходом под честное слово, без конвоя. Так как злоупотребление честным словом в целях побега считается в революционной среде недопустимым и преступным, то даже те, которые выходом под честное слово не пользовались, были крайне связаны в своих действиях.

Проходили месяцы, ничего не удавалось сделать.

Четыре раза были предприняты попытки, долженствовавшие, казалось, кончиться успехом, но каждый раз по непредвиденным случайностям срывались, к счастью, оставаясь неизвестными тюремной администрации.

Казалось, какой-то фатум висел над нашими побегами, и мы положительно приходили в отчаяние от этих неудач.

Оставалась еще одна надежда. 12 сентября этого года я должен был „быть выпущен в вольную команду“, из которой бежать несравненно легче, чем из тюрьмы. (В вольную команду переводятся каторжане по истечении известного срока, по выходе из разряда испытуемых и исправляющихся. Вольно-командцы живут вне тюрьмы; днем могут отлучаться куда угодно, словом, пользуются значительными льготами).

Но так как управление каторги и губернатор почему-то струсил и не решались собственной властью выпустить меня в вольную команду, а между тем они обязаны были это сделать, так как это было бы лишь исполнением их же закона, они и запросили Петербург.

Оттуда долго медлили, пока в первых числах октября начальник тюрьмы не получил телеграммы: „всех бывших шлиссельбуржцев, подлежащих выпуску в вольную команду, содержать в тюрьме и на жительство вне тюрьмы отнюдь не выпускать“. Это значило — оставь надежду навсегда всяк сюда входящий.

Положение приняло зловещий оборот.

К этому времени два старых начальника были под ряд смещены и отданы вместе с одним помощником под суд „за неприятие мер против побегов“, и назначен новый, бывший раньше на Сахалине, некий Зубковский. Назначение состоялось в Петербурге. Оттуда он прибыл с твердым наказом: „подтянуть“ распущенную тюрьму, ввести „настоящий порядок“ и принять самые энергичные меры против возможных побегов, за которые он будет отвечать.

С его прибытием начался новый период в жизни акатуйцев.

Незадолго до этого дня усиления охраны в помощь к старому конвою была прислана целая рота солдат.

Через несколько дней после его назначения получилось телеграфное распоряжение: в двадцать четыре часа выслать всех посторонних, живущих около тюрьмы в ближайших деревнях, т. е. главным образом жен и детей, которые „по закону“ не только имеют право проживать в районе тюрьмы, но администрация обязана давать им квартиру.

В самые темные времена российской реакции они не решались на такое беззаконие, как выселение семей каторжан. „Конституционный кабинет“ Столыпина ¹²² имеет, очевидно, больше полномочий на „водворение законности“, чем Толстой, Игнатъев, Сипягин и Плеве.

Свидания в тюрьме были прекращены, давались только в караулке в присутствии надзирателей. Все, что в тюрьму вносилось и оттуда выносилось, самым тщательным образом осматривалось. Наружный конвой был доведен до невероятных размеров: раньше стояли четыре солдата, теперь слишком двадцать, внутри тюрьмы раньше конвой не стоял, был только дежурный надзиратель, теперь же после поверки тюрьма сдавалась военному патрулю, менявшемуся каждые два часа. Снаружи по углам стен начали строить высокие башни, где будут стоять постовые, — словом, начали заводить „порядки“.

Начались обыски.

При первом обыске обнаружен из камеры № 3 грандиозный подкоп, прошедший уже фундамент здания и наружные тюремные стены. На этот подкоп, расчи-

таный на массу народа, было потрачено много времени и труда, так как его вели с укреплениями внутренних галлерей. Весь этот громадный труд пропал; положение еще больше ухудшилось; на второй же день был начат подкоп на тюремном дворе из старого колодца, но через две недели тоже провалился. Эти провалы подкопов, не считая тех четырех попыток побега, ставили вопрос: или какую-нибудь отчаянную попытку или оставить всякие надежды выбраться.

На воле между тем были полны недоумений.

С июля этого года из Акатуя была масса побегов, и у всех возникал тяжелый вопрос: почему же партийные люди не уходят? Выходило как-будто, что остановка за нами, что уходить легко, но мы не хотим.

На самом деле, все акатуйские побеги за 1906 год за исключением двух (побег Окунцева с его товарищем Мельннковым и Туруншаева) были, с точки зрения революционной этики, недопустимы: люди уходили, дав честное слово администрации, или при обстановке еще более предосудительной. Эти побеги были большим несчастьем для политических каторжан: они дали врагам возможность злорадно говорить, что революционеры напрасно гордятся своей честностью.

Должно заметить, что вся Акатуйская политическая каторга относилась крайне отрицательно к нарушению честного слова, и состоялось даже постановление, чтоб таких господ бойкотировать и имена их сообщать действующим организациям.

Теперь, уже после побега, я узнал, что на воле они, конечно, не говорят, что ушли с нарушением честного слова, и на вопрос, почему не бегут такие-то и такие-то товарищи, двусмысленно отвечают так, мол: очевидно, не хотят.

ГЛАВА ВТОРАЯ

БЕЖАТЬ В БОЧКЕ С КАПУСТОЙ

Нужда разуму учит.

Как на более или менее целесообразном, остановились на следующем плане. Все выносимое и вывозимое из тюрьмы, как, например, мусорный ящик, бочка с „золотом“, водовозная бочка, корзины с вещами, самым тщательным образом осматривалось. Но тут оставалась маленькая лазейка, которая могла выручить.

Через дорогу, недалеко от тюрьмы, конечно, вне стен, стоит большой дом, в котором помещаются тюремная канцелярия, квартиры помощников начальника, надзирателей и проч. На дворе этого дома находится тюремный погреб, в котором хранятся съестные припасы для заключенных. Погребом заведует один из надзирателей, у которого и находится ключ, но так как большинство припасов заготавливается нами же, то с конвоем мы имеем право входа туда.

На зиму нами заготавливается кислая капуста. Мы сами ее режем, наполняем боченки и выносим в тюремный погреб.

Предполагалось так: хотя все выносимое из тюрьмы тщательно осматривается но им может не притти в голову осмотреть бочку, которая выносится не на волю, а в их же погреб, под их наблюдением, в сущности ими же; из погреба тоже ведь выхода никуда нет.

Дальше предполагалось так: если удастся в бочке с капустой пробраться в погреб, то там должен быть сделан заранее подкоп через фундамент и подполье, должны быть вырезаны половицы, и через этот подкоп пробраться на двор, оттуда—дальше...

Обследовали место и приступили к подкопу, который через несколько дней был готов.

В том месте погребца, откуда я должен был вылезать, осталось только вырезать половицу, что должны были сделать в ночь накануне побега.

Тем временем была, с невероятными трудностями, приобретена бочка, аршина полтора вышиною и около аршина шириной, нарезана капуста и на известный день назначен выход.

Если ночью удастся вырезать половицу и все будет готово, рано утром снаружи должен там быть дан сигнал, и я влезу в бочку; в противном же случае предприятие оставляется.

Настало утро.

После томительного ожидания получается сигнал неблагоприятный; план провалился: это и есть четвертый по счету.

Оказывается, те, которые делали подкоп и должны были в эту ночь кончить, направляясь к погребу, издали увидели караульных надзирателей, а вдали каких-то верховых, — словом, необычайную тревогу.

Предполагая, что предприятие кем-нибудь из уголовных выдано или вообще какнибудь открыто, они пробрались домой и сообщили, что дальше продолжать нельзя. В это же утро узнали о новом распоряжении начальника — тщательно осматривать вывозимые бочки.

Мы были в отчаянии: за что ни возьмешься, — все рушится; казалось несомненным, что администрация все разузнала.

Предполагали выдачу.

День прошел спокойно, никаких указаний на то, чтобы администрация узнала о том, что в погребце подкоп, не было.

Мы опять начали окрыляться: не есть ли тревога, поднятая людьми, делавшими подкоп, плод недоразумения?

Дело в том, что как-раз, как я говорил выше, накануне этого дня администрация обнаружила последний подкоп из колодца на тюремном дворе. Не являются ли все меры предосторожности—постовые надзиратели, верховые, осмотры бочки и проч.—результатом тюремного подкопа, переполошившего всю администрацию? (Они могли опасаться, не вывозится ли в бочках земля подкопов, совершенно не имея в виду капустную бочку). Если да, — они на ложном следу, и мы можем свое дело продолжать.

Решено было найти смельчаков и надежных людей для продолжения подкопа, и все кончить не позже, чем через два дня, так как каждый день приносил новые распоряжения и новые строгости.

Утро принесло совершенно неожиданное осложнение: за ночь выпал первый густой снег, который может оставить крайне опасные следы.

Решено было все же идти, если только снаружи будет сигнал, что там все готово и благополучно.

Некоторое время сигнал стоял неопределенно; мы, так привыкшие к всевозможным неудачам, уже приуныли. Ну, мол, конечно, опять провалилось.

Вдруг известие; сигнал — „все благополучно“. Можно начинать.

Наконец-то! Нужно торопиться!

Вынести из тюрьмы бочку необходимо, пока начальник спит, что бы она ему не попала на глаза, то-есть в 8 или 8 с половиной утра.

Там, где должна происходить закупорка меня в бочку, уже все готово.

Чтобы мое отсутствие не бросалось в глаза, иду к дежурному, требую конвой, мне нужно принести для нашей печки дрова. Принес дрова — надзиратели целый день будут помнить, что видели меня.

Старшему надзирателю дал книгу для чтения (я с Е. С. Сазоновым заведывали тюремной библиотекой) и уславливаюсь, что завтра придет ко мне портного.

Незаметно я пробираюсь в помещение, где стоит бочка. Пока опасность одна: скоро может явиться кто-нибудь из надзирателей и накрыть всю механику.

Ставят „стрему“.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

УПАКОВКА В БОЧКУ

Первый акт: упаковка в бочку. Она небольшая, несколько ниже пояса. В нее надо забраться и свернуться так, чтобы сверху можно было насыпать $\frac{1}{3}$ или $\frac{1}{2}$ аршина кислой капусты.

Дабы не задохнуться, в том пространстве, где лежу, находится только платье, которое я по выходе должен захватить с собой.

Над головой прибивается толстая кожа, а над ней накладывается мокрая капуста.

Так как в моем помещении воздуху мало и тот отравлен углекислотой, то в дно проделываются два отверстия, откуда проводятся две резиновые трубки: одна для вдыхания воздуха, другая для выдыхания. Чуть не была сделана несчастная ошибка: имели в виду провести одну трубку для вдыхания, но при опыте ока-

залось, что воздух не успевает обмениваться и через две—три минуты начинаешь задыхаться.

Принимаешь для поддержания сердечной деятельности эфир и вино; это же с ледяной водой забираешь с собой.

Влез, свернулся в „три погибели“, если не больше. Укупорщики еще сдавливают грудь. Трубки в рот!

Кто-то второпях жмет руку, кто-то целует в голову.

— Ну, прощай, родной! Будет хорошо, будь покоен!

Над головой протягивают кожу. Стало темно.

Вдруг вспоминают: „Тарелку! тарелку, черти, забыли!“ Подали тарелку. (При выносе из тюрьмы дежурный надзиратель мог из желания любопытствовать поковырять слегка острой шашкой; так как кожа плохая защита, то решено было на голову надеть шлем в виде железной тарелки).

Быстро в несколько рук гвоздями приколачивают к стенам бочки кожу. Слышу, шопотом торопят: „скорей, скорей“!

Стук прекратился. Прошло несколько мгновений.

Вдруг гулко: трах, трах! Это валят капусту; кожа начинает опускаться и давит на голову; по мне текут ледяные струйки капустного рассола.

Скоро весь смочен им.

Все внимание направлено на урегулирование дыхания.

Бережно расправляешь трубки, чтобы где-нибудь не загнулись. Стараешься дышать ровно, глубоко и, главное, не путать трубок, выдыхаемый воздух не пустить в трубку для вдыхания и наоборот, мрак полнейший.

Глухо долетает неясный шопот и шум падающей капусты.

„Совсем как земля на крышку гроба“, — проносится в голове, но проносится, не оставляя впечатления.

Вдруг слышу шум — стучат в дверь, потом тревожный крик: „Снимай же, пусть вылезает!“

Как вылезать, что такое?

— Надзиратель у ворот, подозвал дежурного... о чем-то шепчутся... показывает на шашки... очевидно, разузнали; скорее пусть выходит. — Слышу, голоса разделились. Одни: „Все равно провалились, пусть лучше вылезает!“ Другие: „Что за ерунда! Мало ли о чем они там шушукуются!“

— Опять как в прошлый раз дурака сваем! Шашками не дадим колоты! Надо попытаться, может, пройдем! — (Любопытно, что во время этих дебатов ни мне, ни, очевидно, им в голову не приходило, что у меня может быть по этому поводу свое мнение). Голоса последних были настойчивее и скоро раздался уже громкий возглас.

— Эй, ребята, бочку в погреб тащить! Кто хочет! Семь человек нужно.

Глава четвертая

ЧЕРЕЗ ТЮРЕМНЫЕ ВОРОТА

Акт второй, самый важный: пропуск через тюремные ворота.

Дыхание наладилось, к „трехпогибельному“ положению несколько приноровился, холодно только от капустного рассола; жду, как понесут. Слышу, как у бочки берутся.

„Что же не несут, чего там. возятся так долго?“

Вдруг слышу скрип полозьев, чувствую, что вдыхаемый воздух очень холоден и освежающий. Потому ли, что вследствие неудобного положения уже не все впечатления доходили до сознания, или почему-либо другому, но я совершенно не чувствовал, как поднимали бочку, как вынесли из того помещения, как снесли с крыльца и как поставили на сани. (Чтобы надзирателю было неудобно рассматривать бочку сверху, во время неизбежной остановки в воротах, решено было бочку в погреб носить не на руках, — тогда надо бы было ее в воротах опустить на землю, — а поставить на сани).

Слышу, наши кричат: „Эй, отворяй ворота!“ и с шумом вкатывают в тюремный подъезд, где на одной стороне помещается человек двадцать конвоя, а на другой — надзиратель.

Остановка.

Решается вопрос о пропуске бочки.

Что там происходило, — не слышал.

Любопытно: все время с минуты заколачивания бочки, до выхода из нее, самочувствие самое для меня неожиданное.

Никаких волнений, никаких тревог, никаких надежд, никаких опасений, ни страха, ни радостей.

Нет ни прошлого, ни будущего. Настроение самое ординарное, деловое, так сказать, как-будто ничего не происходило кругом.

Воспринимаются только непосредственные впечатления, но совершенно не реагируешь на них, и весь комплекс впечатлений в сознании не связывается.

Мысли только о том, что нужно в настоящий момент делать.

Нечто подобное приходилось переживать дважды: при последнем аресте и во время суда, когда ночью ввели выслушивать смертный приговор.

Но к делу. Через некоторое время после остановки в воротах слышу стук ружейных прикладов: это выстраивается конвой. Потом какой-то свист и гиканье наших: „Ну, живей, ребята!“

Чувствую, что мчимся вниз с подъема тюремного подъезда. Проехали благополучно, пропустили!

Глава пятая

БОЧКА В ПОГРЕБЕ

Как подняли бочку с саней, внесли в погреб — не чувствовал.

Акт третий: выбраться из заколоченной и заваленной капустой бочки:

Погреб состоит из двух частей: одна в уровень с землей, в которой и держали все провианты, большое с деревянным полом помещение. Кроме того, внизу есть нечто в роде ледника. Это темный, бесконечно грязный небольшой погреб, куда редко кто ходит, соединяющийся полусгнившей лестницей с верхним.

Наверху ставить бочку представляло ту опасность, что надзирательские жены, увидев привоз свежей капусты, явятся туда с самым благородным намерением поживиться несколько нашей капустой и вместо оной застанут меня вылезавшим из бочки или, в лучшем случае, бочку с пустым пространством, где был я.

Не желая смущать надзирательских жен, мы решили было бочку, под тем предлогом, что наверху капуста

может промерзнуть, как-нибудь на веревках спустить вниз. Там удобнее выбрать удачный момент, чтобы вылезть и меньше шансов быть накрытым вскоре после выхода, что представляло особенную опасность, именно в то утро с свежее выпавшим снегом.

Началась технически сложная операция спуска бочки в нижний подвал. Крик и суматоха необычайные. Отверстие очень маленькое. В спуске принимало участие товарищей человек семь, если только им в критический момент не помогли конвойные.

Бочка несколько раз так накренилась, что я очутился головой почти вниз.

Один момент, когда раздались отчаянные возгласы: „Держи там крепче! Поддерживай справа! Что вы! Да упадет же!“ — я думал: „Прощай, друг милый, пришел твой конец, сейчас плетишь головой вниз“. Действительно, не то веревка, не то сама бочка затрещала. Бочка сделала быстрый скачок вниз, но там кем-то, очевидно, с страшным напряжением сил (внизу должен был быть один из наших силачей) была во-время накрена в другую сторону и хотя с треском, но не разбив ни себя, ни меня, спустилась вниз.

Перекатили подальше от входного отверстия, причем вместе с бочкой, конечно, вертелся и я, так что в конце концов тело мое представляло, вероятно, для геометра, фигуру далеко не правильную и чрезвычайно „неудобо сказуемую“, но самое главное — единственная связь с жизнью, пуповина, дыхательные трубки — уцелело. Значит, все еще может быть хорошо.

Под бочку положили, как было условлено, поленья, чтобы не упралась в землю и не прекратила доступа воздуха.

— Ну, вали, ребята, домой!

Постепенно все утихает.

Жду условного сигнала: трехкратного удара в бочку, что означает: „все благополучно, счастливый путь!“

Вот он: раз, два, три!

Сверху голоса конвойных: „Ну, скоро ли там?“

— Сейчас! Надо тряпкой бочку завязать.

Слышу, чья-то рука разворачивает капусту и нажимает мне на голову — последнее пожатие близкого товарища, руководившего всем делом.

Ответить я могу только теперь, — и я бы очень хотел, чтобы эти строки дошли до тебя, товарищ!

С шумом захлопывается крышка нижнего погреба. Затем наружная дверь верхнего.

Громыкает запор и слышно, как дергают замок, как будто пробуют, крепко ли заперт. Это тоже условный знак: все благополучно.

Надо вылезать.

Так как могло случиться, что во время странствования в бочке я потеряю сознание или случится нечто более неприятное вследствие неправильного дыхания, то в подкопе, т. е. между настилкой верхнего погреба и разрытой землей, на ночь забрался помогавший побегу, который как только услышит дерганье замком наружной двери, снизу поднимет половицу, проникнет в верхний погреб, оттуда в нижний, снимет капусту, разрежет кожу, подаст помощь и как-нибудь извлечет меня оттуда.

У меня же в свою очередь был с собой нож, которым должен был, если сумею, не дожидаясь акушера, сам разрезать кожу и родиться самостоятельно.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

„АКУШЕР“ И ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

Мысль работала правильно.

Но то ли крайне неудобное положение, в котором я лежал, то ли сильная тяжесть капусты, которая давила сверху на голову, то ли неправильное дыхание, но руки, очевидно, совсем не действовали.

Подождав несколько минут „акушера“ и видя, что он не является, я с большим трудом выпростал руку с ножом, воткнул в кожу, хочу разрезать поперек, но ничего не выходит: рука не в состоянии сделать размаха по диаметру. Режу в разные направления кожу, сверху в изобилии течет рассол, и вдруг, очевидно, образовался большой просвет, вниз бухнула целая масса капусты, вырвавшая трубки изо рта.

Чувствуешь, что в голове начинают зайцы бегать и что дело может кончиться неладно.

Стараешься снять с головы тарелку, которая мешает просунуть голову в прорезанное отверстие, — никак руку не пристроишь.

Делаешь отчаянное усилие сорвать напором головы пробитую кожу — оказывается, в некоторых случаях можно головой стенку прошибить.

Несколько напоров — кожа с шумом срывается вместе с гвоздиками: очевидно, второпях товарищи слабо прибили. Капуста летит вниз, а моя голова кверху.

Не помню, как мне досталось мое первое рождение, ведь это было так давно, но при втором поработать пришлось-таки. Не в пример прочим новорожденным, о своем появлении на свет громогласным криком я не

заявляю; наоборот, стараюсь держать себя очень скромно.

Жадно втягиваешь промозглый воздух, казавшийся мне необычайно живительным; стараешься добыть припасенное вино с эфиром. Выпив, осматриваешься с любопытством новорожденного—тьма крошечная.

Слышны шаги.

Подымают крышку погреба. Спускаются чьи-то ноги.

Я хотел было юркнуть в бочку, да сообразил, что не стоит: если надзиратель, то все равно подойдет к бочке—не скроешься.

Ноги медленно опускаются и хотя сверху через поднятую крышку падает слабый свет, никак не узнать, кому они принадлежат: другу или недругу.

Наконец шопот: „это я!“ Голос друга. Это „акушер“, которого новорожденный встречает с ножом в одной руке, с бутылкой вина в другой. Какой однако прогресс человечества.

— Все благополучно, друг?

— Все! — отвечает он. — Идите скорей за мной.

Достали из бочки мое платье, шапку, все мокро и в капусте. Бочку завязали тряпкой, чтобы при случайном посещении не так бросалась в глаза.

Тихо. В несколько прыжков очутился наверху. „Акушер“ закрывает крышку.

Идем к месту, где прорезана половица. Я впереди; он за мной, чтобы половицы опять накрыть, как ни в чем не бывало.

— Пробираться налево!

Внизу невыразимо тесный просвет между настилкой погреба и землей. Вдали виднеется разобранный фундамент. Жутко стало. Как добраться через такой узкий просвет к выходу.

Пополз, но сделал большую ошибку: надо было ползти на спине, грудью вверх, а я пополз на брюхе. Расстояние — шагов двадцать.

Посредине стоп: ни назад, ни вперед. Доползти-то пополз, а дальше ни с места. Вертелся, вертелся, наконец кое-как выбрался.

Доползли; в нескольких шагах от выхода остановились. Было утро. (Выходить можно было только утром, так как бочку выносить вечером нельзя, а ждать до вечера в подкопе невозможно: каждую минуту могут хватиться).

Посмотрел на часы: девять. Значит, полчаса прошло только с момента „выезда“ из тюрьмы. Смотрим — фундамент разобран, виден угол двора, где живет все начальство.

Слышны голоса. Снаружи проходящие мимо разобранного места могут видеть нас прекрасно.

Отсюда мы должны были следить за сигналами: один — „путь занят, лежать“; другой — „выходить немедленно“.

Глава седьмая

СИГНАЛЫ НАДЕЖНЫ — ЛЕЖИТЕ СПОКОЙНО

Смотрим: сигнал — „лежать!“

Начинаю наряжаться и делать свой туалет.

У меня было приготовлено зеркальце, но при продавливании в проходе раздавил. Дамы знают, что без зеркала делать туалет неудобно. К счастью, оказались запасные платки: вытер кровь с разрезанных в бочке рук и лица.

Слышны шаги. Видим кожаные сапоги.

Надзиратель проходит мимо нас в двух шагах. Посмотри он себе под ноги, — у него была бы хорошая награда. Прошел.

Сигнал „лежать!“

Время тянется убийственно медленно.

Кругом ничего не видать, как-будто выходить можно; почему сигнал „лежать“!?

— Сигналы надежны, лежите спокойно, — шепчет акушер.

Через пять минут опять, но с другой стороны. Идут два конвойных солдата.

Очи горе — славу богу, прошли!

Сигнал все „лежать!“

Лежим и думаем о суетности мирской.

Вдруг детские голоса: „лови ее, лови ее“.

Через несколько секунд прямо на нас собака.

Это дети надзирателя играют с собакой и догоняют ее. Игра довольно скверного свойства! Собака, подскочив к отверстию, с удивлением остановилась и воззрилась на нас.

Вдали слышны приближающиеся детские голоса. Или собака залает или дети прибегут. Скверное положение!

Мы уставились на собаку, стараясь фиксировать ее взглядом. От охотников когда-то слышал, что так можно остановить любого зверя.

И вдруг — полная неожиданность! Собака посмотрела, посмотрела, повела носом — „дело, мол, ваше, ребята, меня не касается“ — и медленно повернула по направлению к детишкам. Звонкие голоса и детский смех — как они ни приятны, но теперь мы были крайне обрадованы, что они удалялись и умолкали.

Опять тихо. Прошла пара минут.

Все тот же сигнал — „лежать.“

Лежим. Опять шаги. Через некоторое время видны и ведра. Прошли мимо благополучно.

Теперь надо ждать, пока пойдут обратно!

Думал, думал, да вдруг холодом пронизала мысль: „Да ведь обратно с полными-то ведрами, у него голова будет наклонена вниз!“

Самое скверное состояние—быть в положении выжидательном и впереди ничего приятного не сулящем. Тысячи всевозможных мыслей проносятся в голове с преобладанием одной: „Да и могло ли быть иначе? Ведь это безумие было предполагать такое невероятно счастливое совпадение всех случайностей, что удастся среди бела дня из дыры вылезть благополучно. А если и вылезешь — все равно увидят, с той или другой стороны“.

Как ни медленно, а время все-таки идет.

Слышим—приближается водонос с правой стороны. Уже видны ведра. Ну, сейчас увидят нас!

Подошел почти к самому отверстию, глядим: ведра как-будто наклоняются. Еще секунда—он ставит ведра на землю.

Екнуло сердце.

Или он нас уже заметил или же, несколько споткнувшись около погребка на свежем снегу, он хочет поправить коромысло, а чтобы поднять ведра, должен невольно нагнуться.

Но, очевидно, на этот раз боги уже решили нам покровительствовать. Нагнуться-то он нагнулся и очень низко, но спиной к нам. Несколько невежливо, но мы не обиделись.

Взыграли духом. Но сигнал все тот же, беспощадное „лежать!“

Посмотрел на часы: всего минут 20 — 25 лежим. А нам казалось, уж целая вечность прошла.

Вдруг—глазам не верю! Сигнал как-будто начинает меняться. Так ли? Не обман ли зрения! Нет, так и есть: „все благополучно, выходите!“

Мы, как бомбы, выскочили из дыры и медленным шагом, с самым невинным видом направились по двум дорогам к условленному месту.

„Акушер“ должен был в известном месте взять деньги, паспорт, оружие и вручить мне. (До выхода из подкопа не хотели эти вещи брать с собой, чтобы в случае провала, который был так возможен, не пропали деньги).

Глава восьмая

НОВАЯ ТРЕВОГА

Чувство, с которым я шел, вероятно, такое, с каким идешь под перекрестным ружейным огнем. Стараешься идти ровно, не выказывать волнения, но до смерти хочется увидеть позицию, узнать, что позади делается. Оглядываться опасно.

Счастливая мысль: делаю снежки и начинаю баловаться, все подвигаясь вперед. Тут не трудно было за снегом нагнуться так, чтобы увидеть, что позади делается.

Ваглянул и чуть, как жена Лота, не превратился в соляной столб.

Свежий снег. Яркое солнечное утро. Совершенно обнаженная открытая местность.

Справа вольнокомандские домики, где постоянно шатаются солдаты и надзиратели; сзади на возвышен-

ности казенный дом, смотрит двадцатью глазами своих окон второго этажа, там помощник и надзиратели.

Минут десять должны итти у них на виду. Незаметно вытираешь снегом лицо, которое откуда-то оказалось окровавленным. С жадностью глотаешь чистый снег и вдыхаешь свежий воздух.

Вот она — воля-то, какая она; но впереди еще так много, что вольным далеко себя не чувствуешь.

С „акушером“, вообще выполнившим всю свою нелегкую задачу удивительно точно и пунктуально, мы встретились секунда в секунду, осмотрели оружие, запрятали деньги, несколько пообчистились — и в путь.

Предстояло пройти пешком несколько верст, перекинуться через горы и в условленном месте найти лошадей, которые должны были дожидаться там с раннего утра.

Ноги были перевязаны ватой, плотно обуты, так что при быстрой ходьбе не очень давали себя чувствовать. Зато пребывание в бочке, а потом непривычное взбирание на высокие горы по скользкому снегу вызвали сильнейшее сердцебиение. Прямо задыхаешься, но ждать нельзя, так как пока мы не перекинемся через горы, мы все время на виду, и если бы тогда в тюрьме хватились, нас легко могли бы еще найти.

Теперь новая тревога: будут ли в условленном месте лошади?

Это уже пятый раз в течение двух месяцев, как лошади нас дожидаются. Четыре раза мы не являлись. Возчик совершенно разуверился, что когда-либо выйдет толк из нашего предприятия. Ничего удивительного нет, если теперь он не явится во-время.

Через первую гору перекинулись благополучно. Ни тюрьмы, ни тюремных построек больше не видишь,

Но предательский снег ярко отчеканивает наш след. Не доходя двух верст до условленного места, мы начинаем подавать сигналы, что идут свои: к нам должны выйти навстречу, чтобы повести к лошадям. Долго нет никакого ответа, никого не видать.

Ну, так и есть: там сошло, здесь сорвется, лошади, очевидно, не прибыли!

Вдали, в кустах, что-то замелькало, и на тропинке появился человек.

Лошади! Мы быстро пошли вперед, стараясь не терять из вида вестового, который, очевидно, вел к лошадям. Подошли, обменялись паролями—он самый!

Насилу удержался, чтобы не броситься к нему на шею. Целая гора свалилась с плеч. Теперь полдела сделано.

Наскоро умылся в ручье, напился ледяной воды, черкнул привет оставшимся товарищам, распростился с „акушером“, оделся в соответствующий костюм, на коней,—только нас и видели!

Глава девятая

ОПАСНЫЙ ПУТЬ

Первые 25 верст представляют большую опасность: можно встретить местных людей. Едем не трактом, а какими-то закоулками. Возница-сибиряк, с нюхом и глазом туземца, зорко смотрит по сторонам.

Вдруг в верстах в 8—10 скрежест зубами: „А, язва те дери! Буянов (тюремный надзиратель) с сеном едет! Ложись, паря, прикройся тулупом!“

Оказывается, недалеко от этого места—тюремный сенокос, и так как его на-днях подожгли, то один из

надзирателей ночью набрал возы, теперь возвращается в Акатуй и едет нам навстречу.

Я пластом ложусь на телегу.

Возница сворачивает в сторону, и мы едем на другую дорогу, которая увеличит путь верст на двадцать.

Опасные 30 верст миновали благополучно.

Возница начинает приходить в более спокойное состояние.

— Ты, паря, и есть тот самый? — спрашивает он.

— Тот самый, тот самый, паря.

— Тяжко тебе досталось, паря, все неудача, все неудача.

— Зато, паря, как бы теперь маху не дать нам.

— Ну, уж надо как-нибудь, чтобы аккуратно дело было. Погоня скоро может быть?

— Не знаю, паря, могут хватиться очень скоро. А может, и до вечера не дознаются.

— А хватятся, искать-то ведь будут здорово, язва их дери!

— Здорово, паря. А как ежели объявят погоню из добровольцев да награду назначат. Казаки * шибко стараться будут.

— Э-э-э! Где же тебе там! Нынче однако уж не то. Народ все же мало-мальски прояснился. Знает, кто бежит и зачем бежит! У нас хоть и не Россия, а все же тоже начинают понимать. А кто на деньги польстится, с тем разговор короткий: начальство ему 75, а мы ему 100 в зубы—он и наш. Не, паря, казачки нынче не страшны.

Отъехали еще 50 верст. Никаких неприятных встреч.

* Местные жители. Речь идет о местном населении, забайкальских казаках.

— Ну, а как, паря, поедем-то, по какой дороге? — спрашиваю.

— Да самое лучшее, думаю, схать так-то.

— А как по дороге, ночью не пошаливают?

— Не приведи бог, паря, прямо сказать, хищники.

— Что же, грабят?

— Кабы только грабили; просто душегубцы, ни за что убьют. Недавно двух убили! А вот на прошлой неделе казак один... набросились на него, хотели деньги отнять,—так пятерых на месте уложил.

И лицо сибиряка горит радостно, но меня это мало утешает.

— Оружие-то у тебя хорошее?

— Да уж что лучше, паря, только что вдвоем против целой шайки делать будем?

— Главное — оружие всегда наготове держи; спать тоже, ни боже мой; авось, и благополучно сойдет.

Приятная перспектива: уйти из Акатуя, чтобы сражаться на большой дороге!

Приготовили оружие. Едем.

Начинает темнеть.

— А что, паря, не попить ли нам чайку?

— Чайку. Да вишь ты, дело-то какое! Посланец-то из Акатуя, знаешь, когда явился? Сегодня утром. Я уже хотел было лошадей в поле выгонять, а сам на работу собрался, как он тут! Выезжай, говорит, да непременно сейчас.

— Как, сегодня утром? Ему ведь вчера днем наказано было сейчас же известить тебя.

— Ну, вот видишь, какой он легкомысленный, как подвести-то мог бы нас, а еще родственником приходится! Получасом позже — ни лошадей, ни меня бы не было! Собраться-то некогда было толком.

— А пища-то есть?

— Пища? Вот, что к прошлому разу было приготовлено—есть, если не испортилось. Попитаемся маломало.

Ни чаю, ни пищи. Мороз крепчает. Начинает знобить.

В бочке все платье и белье намокли в капустном рассоле. Вышел оттуда, как Венера из морской пены, теперь весь в холодном компрессе. Переодеваться на морозе еще опаснее... Решаем ехать так.

Темнеет. Небо заволакивает тучами. Поднимается холодный, пронизывающий ветер.

— Однако, как бы вьюга не разыгралась! — тужит возница. — Дороги заметет, беда будет.

Едем, с трудом разбираясь в постоянно путающихся дорогах.

Добрались до какой-то речки, разбили лед, напоили лошадей, сами напились — жажда была какая-то невероятная — и дальше в путь.

Считая, что ночью погоня будет отдыхать, нам важно было выиграть время.

Перевалило за полночь; часа в три возница начинает ежиться.

— Однако, паря, дороги-то не видать: никак сбились?

Остановились. Пошли искать дорогу.

Так и есть: сбились, едем не по дороге! Наставляю компас,—приблизительно направление верно, но дороги нигде не видать.

Ехать дальше не имеет смысла; остается дожидаться рассвета. Распрягли лошадей, взяли в руки оружие, стали на часы. Мысль, под свист завывающей бури, носится то в Акатуй, то туда, в далекую Россию.

Что-то теперь в Акатуе? Обнаружили ли уже побег или, как предполагали, на вечерней поверке удалось скрыть? Товарищи близкие, так тесно спаянные, как-то они провели этот день?

В России товарищи, конечно, еще не знают. Удастся ли довести предприятие до конца или сорвется где-нибудь? Стараешься обдумать все детали, чтобы перехитрить врага и благополучно миновать все козни.

Где-то запел петух. Мы вздрогнули: значит—селение близко! Соседство не особенно приятное.

Начинает светать. Вдали вырисовываются дома. Я остался караулить.

Возница пошел разыскивать дорогу. Оказалось, мы остановились во-время. Дорога была недалеко, в четверти версты.

Ночь прошла благополучно, нападения не было. От погони мы теперь почти гарантированы. Самые рьяные служаки не сделают такого громадного расстояния без передышки.

Теперь опасность угрожает впереди: могут перерезать дорогу от иного места, куда мы едем, если они предупреждены тюремной администрацией. Самый опасный момент—въезд в этот пункт. Стараемся приноровить его к вечеру, когда будет достаточно темно.

Второй день пути прошел благополучно. Встреч почти никаких.

Вечереет. Вчерашний озноб переходит в сильный жар. Чувствуешь, что весь горишь. Лицо—точно в огне раскаленное, в голове бьют молотки. Становится жутко. Этого только недоставало—в самом опасном месте заболеть.

Обсуждаем план въезда в этот пункт. Решили так: возница ложится на телегу, как-будто больной, я же

соответственно одетый, его сподручный, беру лошадей за узду и веду шагом. Предварительно лошадям дали отдохнуть, чтобы у них не был очень заморенный вид.

Видны огни. Слышен свист промчавшегося поезда. Зорко следим, нет ли кого по дороге подозрительного. Ничего.

Уже у самого городка видим: какая-то повозка. Поровнялись. Оттуда зычный голос.

— Здорово, братцы!

— Здорово!

— Откуда бог несет?

Мы раньше уже условились, как ответить в случае расспросов.

Отвечаем, продолжая путь шагом. Повозка та останавливается, и какой-то детина подходит к нам. Пришлось остановиться.

— Так вы из Н...? Не, не может быть, вы не оттуда!

Приближается вплотную ко мне, всматривается.

— Э, да я тебя однако, паря, знаю!

Протягивает руку и приподнимает шапку, которая была нахлобучена на глаза. Я аж застыл весь.

— Ну да, ты и есть! Как же, паря, знаю я тебя; ты человек хороший, прямо скажу—хороший.

Наклоняется к моему лицу, не то схватить, не то обнять хочет. Я уже протягиваю руку за револьвером, как вдруг его наклоненное лицо так и обдаёт меня сивухой, и я увидал пьяную, блаженно-пьяную морду.

— Ну-ну, езжай с богом! Ты человек хороший, а я, паря, тоже человек хороший. Правильно тебе говорю. Выпил малость. Веселья у меня, паря, можешь понять!

— Ну, прощай, хороший ты человек!

Я от души пожал ему руку, уклоняясь, несмотря на радость разлуки, от лобзаний, и мы, нахохотавшись над нашим страхом, приободренные, двинулись дальше.

Вскоре мы очутились в жилой местности. Предстояло разыскать домик, где нам назначено было остановиться. В поисках прошел час. Нашли.

Никаких признаков преследования. Мы с возницей переглянулись: однако, мол, дело славно подвигается.

Глава десятая

БЕСПРЕМЕННО УБЬЮТ

В этом городе мне предстояло разыскать человека, который должен был организовать мою отправку дальше.

Важно было этого человека разыскать сейчас же. Было восемь часов вечера. Я издавна большой любитель прогулок ночью и особенно безлунной ночью. Так как мы были на окраине города, то, чтобы найти дорогу, необходимо было раздобыть провожатого. К моему удивлению, это оказалось не так просто. На мое предложение хозяину пойти со мной в такое-то место он руками и ногами замахал.

— Что вы, что вы? Бог с вами: да разве можно теперь выходить!

— Почему же нельзя?

— Да убьют, беспременно убьют!

— Чего же ради будут убивать? Мы никого не трогаем.

— У нас вечер не проходит, чтобы кого-нибудь не убили. Третьего дня пять человек зарезали. Завтра утром пойдем!

— Завтра утром? Чудак! Мне хозяин дал важное поручение свезти векселя: завтра срок платежа, если не доставлю сегодня, большие убытки потерпит.

— А все-таки вечером никто не пойдет. Надо дожидаться утра, ничего не поделаешь.

Бросился к вознице: „что, паря, делать“? Для того коней загнали (одна лошадь совсем заморилась, едва-едва доползла), чтобы поспеть вечером и днем не показываться в городе. А тут все дело может погибнуть. Надо кого-нибудь достать.

Возница охает и охает, пошел к тому, другому—ничего не выходит. Везде один ответ: нельзя ходить, зарежут.

В дальнем углу горницы, откуда все время доносился богатырский храп, вдруг раздался зычный рев:

— Ты их, купец, не слушай. Врут они все.

Гляжу, рыжий детина поднимается во весь рост и потрясает кулаками. Язык заплетается.

— Нельзя ходить, говорите? Зарежут. А кто меня зарежет? Сам любого зарежу. Идем со мной! Конь у меня огонь, винтовка, брат, ау, какая винтовка! Полуштоф, ставишь? Идет! Только от меня смотри не отставать! В случае чего—я из винтовки, ты из револьвера. Есть револьвер-то? Ну, хорошо! Десяток уложим, брат. А Кузьма Герасимов, чтобы чего боялся—да этого еще не бывало.

Пошли споры. Одни говорят, чтобы ехать с ним, другие не советуют—пьяный человек, куда с ним тронешься. Предложение заманчивое. Хозяин отводит в сторону.

— Бросьте это дело! С Кузьмой не ездите. Видите сами: человек вовсе пьяный. Однако таких дел натворит, что сами не рады будете.

Вышли на двор. На наше совещание собрались соседи. Все соболезнуют: человеку, мол, нужно, а никак ехать нельзя. В толпе парочка: молодой бравый парень, к нему, тесно прижавшись, девица с плутовским лицом щелкает „сибирский разговор“ (кедровые орешки соответствуют российским семечкам).

— А вы, красавица, в Россию поезжайте,—обращаюсь к ней.

— Почему так? лукаво вскидывая глаза, процеживает она.

— У нас в России парни лучше.

— И наши не плохи.

— Чего не плохи. Трусы ваши парни, вот что! Вот ваш кавалер, на что парень хоть куда, а видно, тоже трус.

Парень, видимо, задет за живое.

— Я-то трус? Это ты, паря, с чего взял?

— С чего взял? Да нешто бы у нас в России такой парень побоялся бы итти вечером.

Девица вызывающе глядит на своего кавалера.

— Да ведь зарежут, слышал ты?

— Зарежут! А ты что? Цыпленок? У тебя руки-то, небось, есть. Я же вот иду, не боюсь!

Очевидно, было задето самое чувствительное место.

— Пойдем, паря, получишь на чай хорошо, привезешь своей красавице гостинец.

Красавица пронизывает парня глазами.

— Да у тебя револьвер-то есть?

— Револьвер? Да еще какой!

Вынимаю дивный „Смит и Вессон“ роскошнейшей отделки. Револьвер производит впечатление.

— Ну, ладно, запрягай, поедем.

Пошло шушуканье. Появился еще какой-то парень.

— Два рубля даешь — поеду с товарищем, запрягай!

Парень оказался москвичом. Запрягли ломовую телегу; парень вооружился винтовкой, я — револьвером, третий — каким-то огромным ломом. Уселись и понеслись с быстротой молнии. Об опасности я уже и забыл.

Уцепившись обеими руками в доски телеги, стараюсь не откусить себе язык. Напасть на такую внушительную экспедицию найдется мало охотников.

Доехали благополучно. Человека разыскали. Условились завтра утром позондировать почву и вечером пробраться в поезд.

В том же вооружении и порядке через час вернулись домой, где были встречены, как победители.

Мой возница уводит меня в сторону и тревожно шепчет.

— Вот, паря, еще горе-то какое; неладно попали мы сюда.

— А что?

— А тут на-днях была очень большая кража, так полиция в этом квартале делает ежедневные обыски. Вчера вечером были, может, и сегодня приедут.

Час от часу не легче! Но перебираться некуда было. Будь, что будет! Кое-как улегся в натопленной хате, где народу набралось тьма тьм.

Как только со всеми делами кончили, почувствовалась невероятная усталость и разбитость. Несмотря на то, что два дня ничего не ел, есть не хотелось. Дело, значит, скверно.

Напился я чаю и кое-как улегся. Температура, вероятно, доходила до 40°. Бреда не было, но были зрительные галлюцинации, какие-то маленькие людишки, в роде кукол, с громадными головами, и все жандармы.

Сознаю весь ужас, если расклеюсь, и с этой тревогой в конце концов засыпаю. Утром просыпаюсь, и первая мысль: здоров ли? Как ни в чем не бывало! Здоров и бодр, только есть до-смерти хочется.

Глава одиннадцатая

ТИПИЧНЫЙ ОБОРВАНЕЦ

Было воскресенье, хозяйка, у которой возница составил для меня протекцию, напекла каких-то горячих плюшек, которые сибиряки едят с растопленным маслом. Уложил вещи, отобрал все лишнее.

В 9 часов отправился к тому человеку. Прием встретил хороший. Сочувствие необыкновенное. Особенно тепло отнеслись армяне. Один молодой парень, услышав, что надо помочь бежавшему политическому, бросился к моему знакомому.

— Не надо никого, не надо! Дайте мне, я доставлю в Н., там улажу, у меня есть товарищи: сами знаете. Знакомец похлопал его по плечу.

— Ну, если ты берешься доставить, дело верно, собирайтесь в дорогу.

Я стоял за то, чтобы одеться оборванцем. Раздобыл соответствующий костюм, нарядился и когда посмотрел на себя в зеркало, пришел в неопишуемый восторг: типичный, беспримесный оборванец, разжившийся на дороге кое-каким тряпьем.

Вещи мои, для сохранения ансамбля, увязали.

Теперь придется пробраться в поезд и мчаться на восток. После многих военных хитростей задача выполнена. Один человек сопровождал меня в качестве хозяина.

Костюм и весь мой вид сразу получили премию — тумак от жандарма: „куда, мол, прешь, такой сякой!“ Отрадное дело, никогда бы не предполагал, что бывают случаи, когда тумак доставляет необычайное удовольствие и вызывает чрезмерное духа взыграние. Выругает кто меня — для меня его ругань небесная музыка.

У какого-то офицера заработал даже пятак. Бегу с чайником за кипятком; из окна второго класса кричат: „Эй, любезный, захвати-ка и мне кипяток, на-чай получишь!“

— С нашим удовольствием, ваше высокородие!

Принес кипятку, получил пятак. Ну, думаю, теперь мое дело верно, уже если на-чай получил, могу за свой успех не тревожиться.

И действительно, в течение четырех — пяти дней по железной дороге, хоть бы один чорт посмотрел на меня с любопытством.

Донимают только кондуктора. Там вообще не в обычае ездить по билетам: все зайцы. Но зайцы такие, которые норовят слыть не зайцами, так как кондуктору не платят, а говорят: билет есть. Кондуктора меняются там часто, и, обходя поезд, каждые несколько часов спрашивают билеты. По отношению к мало-мальски обывательски одетым ограничиваются вопросом: дальше едете? Вид мой, хотя у меня-то был билет, очевидно, кондуктору никакого доверия не внушал. Наверное, мол, жулик какой-нибудь.

— Билет!

— Есть, дальше еду.

— Ладно, ладно, покажи-ка.

Показываешь.

Через пару дней езды хотел проверить, насколько ясно их мнение обо мне.

— Билет!

Повторяется та же история: „ладно, ладно, покажи-ка“.

Показываю.

— Вот, говорю, как не хорошо быть бедным человеком. Никто тебе не верит. Соседу моему вы на слово верите, а я только тем и отличаюсь, что похуже одет, а между прочим я, может быть, такой же человек, как и он. А?

Кондуктор несколько сконфузился.

— Да уж больно часто из вашего брата бывают такие, что только смотри за ними.

— Из вашего брата! Скажи-ка на милость, из какого это из вашего брата. Сам-то ты из каких братьев? Не из наших же ли. Что же, посуди, из нашего брата все жулики, а из их все честные, да? Стрелочники, кондуктора—все из нашего брата. Так это все воры, а инженеры, директора—это уже из ихнего брата—так все честные, да? Так выходит по-твоему?

Кондуктор в конец сконфузился.

— Эх, брат, что говорить, служба у нас такая проклятая.

— То-то оно-то, служба! Из-за вашей службы наш брат, бедняк, хоть и честный, всюду утеснение терпит.

— Ну, ну, что ж? Я ведь тебе, брат, ничего! Ты, пожалуйста, того, не обижайся. Я ведь как по службе значит. А так все прочее, что ж!..

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В ЯПОНИИ

Доехали без всяких инцидентов до города, откуда должен был пробраться в Японию. Там пришлось перетерпеть целый ряд мытарств, так как вышла какая-то путаница в паролях. Обо всем этом и о пути по Японскому морю пока по конспиративным соображениям говорить неудобно.

В общем не повезло. Пришлось перенести при крайне неудобных условиях, сильный „тайфун“ (местные штормы) в течение 36 часов, без сна, без пищи. Рвало кровью и желчью. Был в полной уверенности, что уже настоящий конец пришел и было скорбно на душе.

Однако конец не пришел. Даже начало еще не наступило. Сильно опасался, благополучно ли удастся сойти с корабля в Нагасаки. И как облегченно себя почувствовал, когда вступил на японскую почву. Направился к „Гаванскому сенатору“, товарищу Н. К. Русселю.

— Вы меня не узнаете?

— Нет.

— Присмотритесь хорошенько.

— Как-будто где-то встречался, но, право, не помню,— говорит он, подозрительно оглядываясь на меня.

— Я такой-то... Я здесь в безопасности?

— В полнейшей. Только необходимо открыть свое инкогнито.

— Как? Быть под своей фамилией?

— Непременно. Иначе могут выйти большие неприятности.

Позже в Токио, на пароходе и по прибытии я оценил всю важность этого совета. Будь я под чужой

фамилией, я натерпелся бы неприятностей, так как это у них самое большое преступление. А так, всюду встречал хорошее, внимательное и предупредительное отношение.

И так—вот она, воля!!!

Воля для борьбы и борьба для воли!..

Тихий Океан.

Ноябрь 1906 г.

ПОСЛЕ ПОБЕГА ¹²³

(Отрывок)

Не стану писать вам о том, как все случилось: об этом скоро узнают на воле. Напишу то, чего вы, помимо нас, можете и не узнать.

Скоро после того, как Григория Андреевича Гершуни уже не было в стенах тюрьмы, является в тюрьму начальник и прямо к нам: подай ему Григория Андреевича Гершуни. Но в библиотеке никого не оказалось, и начальство изволило проследовать к другим товарищам, с которыми привыкло вести разговоры.

И о чем же начальство пришло говорить? Именно о своем начальническом счастье. Видите ли, начальник тюрьмы послал губернатору рапорт, в котором докладывал, что все меры против побегов приняты, что теперь их не может быть и что он, начальник, находит применение каких-либо репрессий излишним.

На что и последовал милостивейший ответ губернатора с изъявлением благоволения и согласия на либеральный режим.

... Целый день сошел хорошо. Никто, кроме посвященных, повидимому, ничего не подозревал.

Настала поверка.

Нам двоим оставшимся в библиотеке (мне и Сидорчуку) удалось симмулировать отсутствие третьего...

Какое безобразное чучело лежало на месте Григория Андреевича!

Во время поверки старший надзиратель по обыкновению заглянул к нам только через порог и, увидав третью пару торчащих ног, тотчас же запер нас со словами: „Все дома“.

Мы торжествовали и уселись за чай, усиленно угощая Григория Андреевича.

Казалось, все великолепно...

Но через полчаса после поверки вдруг входит, вопреки всяким обычаям, надзиратель и прямо к кровати Гершуни.

— Кто это тут?—Щупает...

Провал...

Мы совершенно не могли объяснить причину провала... Со своей стороны не подали повода... Через минуту вся тюрьма знала о событии. Удивлялись, не верили. А потом гоготали от восторга...

Всю ночь начальство металось, как сумасшедшее. Оцепили деревню цепью солдат. Сам начальник целую ночь обыскивал каждый домишко, рылись в подпольях, в погребках.

Какой-то солдат сболтнул, что он вечером видел Г. А. близ деревни.

Начальник был в полной уверенности, что найдет беглеца, и поэтому ограничился лишь тем, что послал верховых по дорогам в Манджурию, в Борзию, а телеграммы, что главное, не послал...

Первым предположением было, что Г. А. вывели местные крестьяне, которые в данное время работали

над приведением тюрьмы на зимнее положение, почему у них и сделали собственно тщательный обыск той же ночью.

К утру оставались еще в полном неведении о способе совершения побега.

Часов в девять утра кто-то припомнил, что накануне вывезли из тюрьмы в погреб бочку с капустой. Бросились в погреб и нашли там бочку, наполовину занятую капустой, а в капусте, когда порылись, ничего, кроме гуттаперчевой трубки, не нашли.

Теперь и существует предположение, что Г. А. вывезли под капустой.

Тут только, в десятом часу утра начальник решился телеграфировать куда следует о своей беде.

Таким образом, несмотря на наш провал симмулирования, Г. А. имел в своем распоряжении целых двадцать четыре часа (считая самым рискованным для него не момент открытия и посылки погони, а момент подачи телеграммы).

Начальник рвет и мечет, другой начальник, который все еще живет здесь, злорадствует. Тюрьма же радуется самым искренним образом, как-будто сознает всю важность события.

Еще ни один побег не вызывал таких восторгов...

ПРИМЕЧАНИЯ,
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

¹ Гершуни Григорий Андреевич (1870—1908). Родился в еврейской семье. Не окончив гимназии, поступил в 1895 г. в университет на фармацевтические курсы. По окончании устроил свою лабораторию для бактериологических исследований в Минске.

Понутно все свободное время принимал деятельное участие в культурно-просветительной работе, читал лекции в субботней школе для взрослых, организовывал детские школьные праздники, подвижные музеи школьных пособий и прочее.

Активная революционная деятельность начата им после первого кратковременного ареста в 1901 г., когда он перешел на путь конспиративной заговорщической работы. Уезжает за границу, где был одним из основателей партии эс-эров. В 1902 г. возвращается в Россию и организовывает убийства министра внутренних дел Сипягина, и уфимского губернатора Богдановича, покушение на харьковского губернатора князя Оболенского. Арест, суд и бегство описаны в тексте. Из Японии Гершуни направился в Америку. Впоследствии он работал в Париже. Умер от саркомы. Похоронен на Монпарнасском кладбище рядом с могилой Лаврова.

² Расстрел златоустовских рабочих. Рабочим казенного оружейного завода гор. Златоуста, Уфимской губернии, где работало 5.000 человек, предъявили 10 марта 1903 года новые расчетные книжки, значительно ухудшавшие условия труда. Рабочие не приняли книжек и забастовали, требуя 8-часового рабочего дня, права совместного с администрацией участия в выработке правил внутреннего распорядка и т. д. 12 марта завод был оцеплен войсками. Выбранных рабочими представителей для переговоров, по предложению прибывшего уфимского губернатора Богдановича, арестовали. На ультиматум рабочих об освобождении товарищей в собравшуюся толпу по приказу Богдановича дано несколько залпов. В результате было убито 69 рабочих и 250 ранено.

³ Боевая организация эс-эровской партии выносила приговоры и выполняла террористические акты в отношении особенно ненавистных, по их мнению, представителей царизма.

⁴ Ремянникова Л. А. (род. в 1867 г.)—активная эс-эрка. Оговором Григорьева и Юрковской привлекалась вместе с Гершуни к суду по обвинению в подготовке террористических актов против Победоносцева и Сипягина. В действительности не принимала никакого участия в боевой подготовке этих актов.

⁵ Богданович Н. М. (1856—1903). Будучи уфимским губернатором учинил кровавую бойню над рабочими златоустовского завода. Правительство наградило его орденом за это лхое дело. 6 мая 1903 года убит членом боевой организации эс-эров—слесарем уфимских железнодорожных мастерских Егором Дулебовым, которому удалось скрыться.

⁶ Гюго Виктор (1802—1885). Крупнейший французский писатель. В лучших своих произведениях („Отверженные“, „Последний день осужденного на казнь“, „93-й год“) он проповедывал любовь и жалость к гонимым и угнетенным.

⁷ „Доконституционное время“. Подразумевается время, предшествующее эпохе „весны“ и „доверия“ 1904 г. и революции 1905 г., когда правительство на ряду с мелкими уступками безжалостно подавляло революционное движение.

⁸ Процесс социалистов-революционеров. По этому процессу привлекались по обвинению в принадлежности к боевой организации Гершуни, Мельников, Вейценфельд, Ремянникова и Григорьев. Гершуни, Мельников и Григорьев приговорены к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. В отношении Григорьева суд ходатайствовал о замене казни каторгой. Вейценфельд приговорен к 4-м годам каторги, Ремянникова—к 3-месячному аресту.

⁹ Партия социалистов-революционеров. Возникла в 1901 году из остатков сохранившихся народовольческих групп. Первый съезд происходил в декабре 1905 года после разгрома декабрьского восстания пролетариата в Москве. Не имея твердой классовой базы, эс-эры считали себя защитниками „трудящихся вообще“: крестьянства, рабочих, интеллигенции. На деле же эс-эры постоянно вступали в союзы с буржуазными партиями. В своей земельной про-

грамме эс-эровская партия являлась выразительницей кулацких слоев деревни, выступая против лозунга национализации земли, за уравни- тельное землепользование. Часть русской интеллигенции шла одно время за эс-эрами, прельщенная пышными революционными фра- зами и террористической борьбой. Между тем террор, как средство борьбы с самодержавием, совершенно не оправдал себя. Разгром революционных организаций, усиление реакции и истребление рево- люционеров всех толков — вот первые итоги террора.

Во время империалистической войны 1914—1917 гг. эс-эры пере- шли в лагерь социал-предателей, высказываясь за войну. После фе- вральской революции „громкое“ революционное прошлое и обещания трудящимся привлекли к эс-эрам мелко-буржуазную интеллигенцию и часть крестьянства. Но иллюзии крестьян быстро рассеялись, ибо эс-эры, игравшие тогда крупнейшую роль, выступали против конфи- скации помещичьих земель, советуя крестьянам ждать до учредитель- ного собрания, а солдатам—гнить в окопах во имя „войны до побед- ного конца“. Эс-эры поносили лозунг „вся власть советам“.

В октябре 1917 года партия эс-эров с оружием в руках боролась с восставшим пролетариатом. Только небольшая группа так называе- мых „левых эс-эров“ пошла сначала заодно с большевиками. Но скоро „левые эс-эры“ обнаружили свою мелко-буржуазную авантюристскую сущность: убийством немецкого посла Мирбаха и попыткой восстания они поставили советскую власть перед лицом очень большой опас- ности. На этом кратковременный союз и кончился. Большинство же партии с самого начала боролось с советской Россией, проводя поли- тiku интервенции—поддержки reactionеров и убийства вождей рабо- чего класса. Эс-эрами были убиты: лучший трибун питерских рабочих— Володарский и комиссар Учредительного Собрания—Урицкий. Эс-эрок Каплан опасно ранила Ленина. Эс-эры вдохновляли чехо-словацкий мятеж и борьбу всех белых правительств с РСФСР. Процесс эс-эров (1922) особенно ярко вскрыл контр-революционную сущность этой партии. Ныне, лишенные всякого политического влияния, эс-эры про- должают за границей травлю Советского Союза, участвуя во всех комбинациях партий, могущих нанести вред республике труда. Они неверно информируют вместе со всей русской белогвардейщиной западных деятелей о положении СССР и всеми мерами стремятся ухудшить наши взаимоотношения с капиталистическим Западом. Центр эс-эровских эмигрантов—столица Чехо-Словацкой республики— Прага.

¹⁰ Сипягин Д. С. (1853—1902). Крайний реакционер. Вначале (1886) был харьковским губернатором, затем (1888)—курляндским, и в 1891 г.—московским. Прославившись на губернаторских постах, он в 1899 году был назначен министром внутренних дел. Жестоко расправился в 1901 году с рабочими Обуховского завода, отдавал студентов в солдаты, боролся с земством, с голодающими крестьянами. 2 апреля 1902 г. убит студентом Степаном Балмашевым.

¹¹ Победоносцев К. П. (1827—1907). Обер-прокурор высшего церковного учреждения России—Синода—и член государственного совета. Самый последовательный представитель дворянской реакции, вдохновлявший Александра III в его внутренней политике, а впоследствии и Николая II. Подавлял как в школах, так и в печати вольный дух. Черносотенство и поповщина возобладали над всем. Сошел со сцены после революции 1905 года.

¹² Оболенский И. М., князь. Будучи харьковским губернатором, он с исключительной жестокостью подавил в 1902 году крестьянские волнения в Харьковской и Полтавской губерниях. 26 июля 1902 г. на него неудачно покушался эс-эр Ф. К. Качура.

¹³ Фон-Валь Н. В. (род. 1844). В молодости „отличился“ при усмирении польского восстания 1863—64 гг. С 1892—1895 г.—петербургский градоначальник, в какой-то должности энергично подавлял рабочее и студенческое движение. В 1901 году он на посту виленского губернатора. В мае 1902 года в Вильне состоялась рабочая демонстрация; Фон-Валь наказал демонстрантов розгами, за что 5 мая 1902 года на него неудачно покушался сапожник Гирш Леккерт. Леккерт был повешен, а Фон-Валь назначили товарищем министра внутренних дел и командиром отдельного корпуса жандармов.

¹⁴ Петропавловка. Петропавловская крепость — старинная, построенная Петром Великим крепость — тюрьма в центре Петербурга, на Неве.

¹⁵ Ветрова М. Ф. Была арестована в декабре 1896 года по подозрению в сношениях с типографией народовольцев и заключена в Шлиссельбургскую крепость. 12 февраля 1897 года облилась керо-

сином и зажгла себя. Весть о трагическом самоубийстве быстро разнеслась среди петербургского студенчества. (Ветрова была слушательницей Высших Женских Курсов). Студенчество устроило демонстрацию, неся венки, с пением „вечной памяти“. Многие были арестованы и высланы за эту демонстрацию сочувствия революционерам и протеста царскому режиму.

¹⁶ Шлиссельбург. Тюрьма для государственных преступников. Сюда попадали провиннившиеся царские вельможи (Бирон, Д. М. Голицын), неугодные императору члены царской фамилии (Иоанн Антонович). В XIX в. вместе с ростом революционного движения, Шлиссельбург стал тюрьмой для политических — декабристов. В начале 80-х годов XIX века была построена новая шлиссельбургская тюрьма для революционеров. Шлиссельбургская тюрьма упразднена в январе 1906 г. Окончательно уничтожена, как место заключения, революцией 1917 года.

¹⁷ Качура Ф. К. Родился в 1877 г. в бедной солдатской семье. Поступил рабочим в столярную мастерскую. 29 июля 1902 года покушался неудачно на жизнь харьковского губернатора Оболенского. Недолго просидев в Шлиссельбурге, был впоследствии сослан в Архангельскую губернию.

¹⁸ Плеве В. К. (1846—1904). Наиболее яркий представитель царизма конца XIX и начала XX вв. В 80-х годах упорно борется с народовольцами. В 90-х г. воюет с независимостью финляндского народа. После убийства Сипягина назначается министром внутренних дел. Под его руководством подавляются крестьянские волнения, устраиваются еврейские погромы. Разгоняя рабочие организации, он одно время поддерживает зубатовщину (полицейскую форму легального рабочего движения), стараясь отвлечь пролетариат от революционной борьбы.

Преследуя студенчество, земства, он возбудил к себе всеобщую ненависть. Был одним из инициаторов русско-японской войны, надеясь парализовать этим боевую революционную энергию масс. Убит 15 июля 1904 года эс-эром Е. Сазоновым.

¹⁹ 279 ст. царских узаконений карала за проступки смертной казнью.

¹⁰ Сипягин Д. С. (1853—1902). Крайний реакционер. Вначале (1886) был харьковским губернатором, затем (1888)—курляндским, и в 1891 г.—московским. Прославившись на губернаторских постах, он в 1899 году был назначен министром внутренних дел. Жестоко расправился в 1901 году с рабочими Обуховского завода, отдавал студентов в солдаты, боролся с земством, с голодающими крестьянами. 2 апреля 1902 г. убит студентом Степаном Балмашевым.

¹¹ Победоносцев К. П. (1827—1907). Обер-прокурор высшего церковного учреждения России—Синода—и член государственного совета. Самый последовательный представитель дворянской реакции, вдохновлявший Александра III в его внутренней политике, а впоследствии и Николая II. Подавлял как в школах, так и в печати вольный дух. Черносотенство и поповщина возобладали над всем. Сошел со сцены после революции 1905 года.

¹² Оболенский И. М., князь. Будучи харьковским губернатором, он с исключительной жестокостью подавил в 1902 году крестьянские волнения в Харьковской и Полтавской губерниях. 26 июля 1902 г. на него неудачно покушался эс-эр Ф. К. Качура.

¹³ Фон-Валь Н. В. (род. 1840). В молодости „отличился“ при усмирении польского восстания 1863—64 гг. С 1892—1895 г.—петербургский градоначальник, в каковой должности энергично подавлял рабочее и студенческое движение. В 1901 году он на посту виленского губернатора. В мае 1902 года в Вильне состоялась рабочая демонстрация; Фон-Валь наказал демонстрантов розгами, за что 5 мая 1902 года на него неудачно покушался сапожник Гирш Леккерт. Леккерт был повешен, а Фон-Валь назначили товарищем министра внутренних дел и командиром отдельного корпуса жандармов.

¹⁴ Петропавловка. Петропавловская крепость — старинная, построенная Петром Великим крепость — тюрьма в центре Петербурга, на Неве.

¹⁵ Ветрова М. Ф. Была арестована в декабре 1896 года по подозрению в сношениях с типографией народовольцев и заключена в Шлиссельбургскую крепость. 12 февраля 1897 года облилась керо-

сином и зажгла себя. Весть о трагическом самоубийстве быстро разнеслась среди петербургского студенчества. (Ветрова была слушательницей Высших Женских Курсов). Студенчество устроило демонстрацию, неся венки, с пеннем „вечной памяти“. Многие были арестованы и высланы за эту демонстрацию сочувствия революционерам и протеста царскому режиму.

¹⁶ Шлиссельбург. Тюрьма для государственных преступников. Сюда попадали провинившиеся царские вельможи (Бирон, Д. М. Голицын), неугодные императору члены царской фамилии (Иоанн Антонович). В XIX в. вместе с ростом революционного движения, Шлиссельбург стал тюрьмой для политических — декабристов. В начале 80-х годов XIX века была построена новая шлиссельбургская тюрьма для революционеров. Шлиссельбургская тюрьма упразднена в январе 1906 г. Окончательно уничтожена, как место заключения, революцией 1917 года.

¹⁷ Качура Ф. К. Родился в 1877 г. в бедной солдатской семье. Поступил рабочим в столярную мастерскую. 29 июля 1902 года покушался неудачно на жизнь харьковского губернатора Оболенского. Недолго просидев в Шлиссельбурге, был впоследствии сослан в Архангельскую губернию.

¹⁸ Плеве В. К. (1846—1904). Наиболее яркий представитель царизма конца XIX и начала XX вв. В 80-х годах упорно борется с народовольцами. В 90-х г. воюет с независимостью финляндского народа. После убийства Сипягина назначается министром внутренних дел. Под его руководством подавляются крестьянские волнения, устраиваются еврейские погромы. Разгоняя рабочие организации, он одно время поддерживает зубатовщину (полицейскую форму легального рабочего движения), стараясь отвлечь пролетариат от революционной борьбы.

Преследуя студенчество, земства, он возбудил к себе всеобщую ненависть. Был одним из инициаторов русско-японской войны, надеясь парализовать этим боевую революционную энергию масс. Убит 15 июля 1904 года эс-эром Е. Сазоновым.

¹⁹ 279 ст. царских узаконений карала за проступки смертной казнью.

²⁰ Григорьев Е. К. (род. в 1879 г.) Из военных. Распространял подпольную эс-эровскую литературу среди слушателей Михайловской Артиллерийской Академии, где он сам обучался. Вызвался убить Победоносцева, но покушение не состоялось. Будучи арестован, выдал всех своих товарищей.

²¹ Карабчевский Н. П. (род. в 1851 г.) Известный адвокат. Выступал в политических процессах. Защищал на суде Брешковскую, Сазонова, Гершуни. После Октябрьской революции эмигрировал за границу.

²² Русско-японская война была затеяна в интересах торгового капитала России с целью захвата ряда пунктов на Дальнем Востоке. Война была также в интересах царской семьи, стремившейся поживиться в Дальне-Восточной области. Плохо подготовленные армия и флот сразу стали терпеть поражения. Война кончилась позорным для России миром. Она крайне обострила классовую борьбу внутри страны и привела к революции 1905 года.

²³ Крымская кампания. Севастополь. Крымская война 1853—56 гг. велась между Россией, с одной стороны, Англией, Францией, Сардинией и Турцией с другой. Центром военных действий был Крым, в особенности Севастополь. Война кончилась полным поражением России и позорным для последней миром. Севастопольский разгром показал полную неспособность крепостной России защищать интересы русского капитализма. Военная катастрофа, поставившая ребром вопрос о необходимости коренных изменений существующего строя, была одной из причин реформ 1861 года.

²⁴ Порт-Артур. До 1898 г.—китайская крепость. В разгар империалистических устремлений царской России на Дальний Восток крепость перешла в русские руки. Во время русско-японской войны Порт-Артур позорно был сдан японцам.

²⁵ Лопатин Герман Александрович (1846—1918). Видный революционер. В 1866 году в связи с делом Каракозова, стрелявшего в Александра II, был арестован, освобожден через несколько месяцев из тюрьмы за отсутствием улик, ибо, как заявляли жандармы, «такого шутника и весельчака никакая революция не собьет с пути».

беспечального прожигания жизни". В 1867 году уезжает за границу, где вступает в ряды волонтеров Гарибальди, борющегося за освобождение Италии. Вернувшись в 1868 г. в Россию арестовывается по делу „Рублевского общества“, имевшего целью распространение грамотности в народе. Его высылают в Ставрополь под надзор родителей. Здесь он работает чиновником и задумывает побег в Америку. Побег был раскрыт и его подвергают аресту. Бежит. Предпринял освобождение из ссылки знаменитого народнического теоретика — Лаврова. Уезжает с ним за границу. В конце 1870 г. возвращается в Россию. Пытался освободить из ссылки другого теоретика народничества — Чернышевского. Арестован. В 1873 году бежал за границу. В 1879 г. вернулся в Россию; арестован и сослан сначала в Ташкент, потом в Вологду. В 1883 г. бежал за границу. Сблизился с народовольцами. В том же году вернулся в Петербург и энергично взялся восстанавливать рассыпавшуюся организацию и возобновить заглохшую деятельность Народной Воли. Лопатин предпринял ряд поездок вглубь страны, сколачивал актив партии, но был арестован. При нем найдены имена всех лиц, привлеченных им к работе. Полиция этим воспользовалась и разгромила остатки народовольческих сил, прихватив заодно и членов других организаций. Лопатин был знаком с Марксом и Энгельсом. Он один из переводчиков первого тома „Капитала“ Маркса, вышедшего в России в 1872 году. Арестованного в октябре 1884 г. в Петербурге Лопатина судили в 1887 году и приговорили к смертной казни, которая была заменена бессрочной каторгой. Отсидел он 18 лет заключения в шлиссельбургском „каменном гробу“ среди „заживо погребенных“ русских революционеров. После 1905 г. частично занимался литературной работой. Пытался заняться активной работой после 1917 г., но болезнь и старость подкосили его.

²⁶ Вайценфельд А. И. (род. в 1880 г.) Активный эс-эровский работник. Арестован в Екатеринославе 4 декабря 1902 г., судился по делу Екатеринославского комитета партии эс-эров. Вайценфельд подготавливал вместе с Гершунни покушение на князя Оболенского. Судился вместе с Гершунни и другими эс-эрами по обвинению в принадлежности к Боевой организации. Приговорен к 4 годам каторги.

²⁷ Павлов В. П. Военный прокурор. Убит 27 декабря 1905 г. во время своей обычной утренней прогулки. Покушавшийся, матрос Егоров, расстрелян по приговору военно-полевого суда.

²⁸ Бобринцев-Пушкин А. В. (род. в 1875 г.) Адвокат. В 1905 г. вступил в реакционную партию Октябристов. В 1919 г. эмигрировал к Деникину. В 1921 г. вместе с другими белыми эмигрантами „сменил вехи“, заявил, что нужно „раскаяться в своем белом угаре“, „принять революцию“. В настоящее время живет в Ленинграде.

²⁹ Магдалина. По евангельскому преданию, Иисус изгнал из нее семь бесов, и она стала верной последовательницей Христа.

³⁰ Польское восстание 1863 — 64 гг. вспыхнуло, как протест против угнетения Польши Россией. Самодержавие усиленно насаждало русские порядки в Польше, запрещая польские школы, конфискуя земли, всячески подавляя национальную самостоятельность поляков. 1 января 1863 г. был объявлен рекрутский набор, при чем решено было в первую очередь забрать революционную молодежь. Намеченные к рекрутчине молодые люди образовали вооруженные отряды и вступили в бой с русскими войсками. Борьба с огромной армией России была не под силу полякам, и восстание было жестоко подавлено. К восстанию поляков с большой симпатией и участием относились многие из революционных деятелей того времени.

³¹ Муравьев Н. В. (1850—1908). Выступал обвинителем по делу об убийстве Александра II народовольцами 1 марта 1881 г., настаивая на казни главарей Исполнительного Комитета Народной Воли. С 1894 по 1905 г. был министром юстиции. Стремился к ограничению самостоятельности судебной власти и превращению судов в орудие борьбы с революционерами. С 1905 г. и до смерти состоял на посту посла в Риме.

³² Дело 1 марта. 1 марта 1881 г. был убит по постановлению Исполнительного Комитета Народной Воли император Александр II. Бомбометателями были Рысаков и погибший при взрыве Гриневецкий. Были арестованы и казнены вожди Народной Воли: Перовская, Желябов, Кибальчич, Михайлов и оговоривший всех участников Рысаков. Этот наиболее блестящий акт Народной Воли, поведший к казни главарей партии, был вместе с тем и ее концом. Заметавшаяся полнция переполнила тюрьмы политическими. Никакого восстания ни в Петербурге, ни в стране не было. Убийство осталось

единичным актом, приведшим к воцарению нового монарха и бешеной реакции на многие годы. Аресты и казни расстроили и ряды Народной Воли. Больше этой партии не удалось воскресить своей былой славы. Неустанная погоня народовольцев за царем, его убийство и последовавшая реакция лишней раз доказали как революционерам, так и трудящимся, что дело не в единоборстве отдельных революционеров с царем и его слугами, а в упорной борьбе со всем народившимся у нас капиталистическим строем и не за отдельные царские милости, а борьбу за переход всей власти к трудящимся.

²³ „Бесы“—роман знаменитого русского писателя Ф. М. Достоевского. В этом романе Достоевский стремился опорочить революционное движение 60-х годов, представив его, как результат преступной деятельности бесчестных людей.

²⁴ Балмашев С. В. (1882—1902). Революционер. Выходец из семьи ссыльного-народника. В 1900 году обучался в Киевском университете, принимая активное участие в студенческих волнениях и забастовке-протесте студентов. Арестован в январе 1901 г.; после непродолжительного пребывания в тюрьме был сдан в солдаты, но новый курс правительства „сердечного попечения“ освободил его от службы, и он уезжает в Харьков, где, связавшись с революционной средой, ведет работу в кружках рабочих. Он не делает различия между принадлежностью этих кружков к социал-демократам или эс-эрам, считая, что обе партии не имеют разницы в практическом осуществлении своих программ. Вскоре он возвращается в Киев, где поступает в университет. Студенческое движение благодаря новым „временным правилам“ снова поднялось. Аресты студентов, страшные гонения и сдача в солдаты были мерами борьбы правительства. Студенчество мстит через Балмашева убийством министра внутренних дел Сипягина 2 апреля 1902 г. Эс-эры заявили, что Балмашев выполнил постановление партии в то время, как сам Балмашев на суде заявил, что „его единственным помощником было русское правительство“. „Искра“ писала о Балмашеве, что он был социалистом, был революционером и что убийство—это акт протеста студенчества на правительственные репрессии. Распространенным считается мнение, что Балмашев—эс-эр.

Балмашев повешен 3 мая 1902 года в Шлиссельбургской крепости.

⁴⁵ Каляев И. И. (1877—1905). В 1899 г., будучи студентом Петербургского университета, принял активное участие в студенческих волнениях. Был арестован и после 3-месячного тюремного заключения выслан в Екатеринослав. Здесь принял участие в революционной работе, примкнув к социал-демократии. Вскоре уехал за границу. Немецкие власти выдали Каляева русскому правительству, заключившему его в Варшавскую тюрьму. Затем он был выслан в Ярославль, а оттуда уехал за границу, вступив под влиянием Савинкова в боевую организацию эс-эров. Участвовал в покушении на Плеве, а 4 февраля 1905 г. убил великого князя (московского генерал-губернатора) Сергея Александровича. В ночь на 10 мая 1905 г. Каляев был повешен в Шлиссельбургской крепости.

служил на фабрике. Сопротивление при

⁴⁶ Гершкович Х. (1886—1905). С детства был каторжником. 20 августа 1905 г. казнен за вооруженное сопротивление при аресте.

известный сатирический писатель. Получил пошлом дворянскую старину", "Сатирические вымыслы" и др. Редактор "Сатирического" закрытого правитель-

⁴⁷ Щедрин-Салтыков (1826—1889). Знаменитый сатирический писатель. Зло высмеивал чиновничество, клерикализм, крепостной быт. Лучшие его произведения: "Письма из провинции", "Помпадуры и помпадурши", "Господа Головлевы". Редактор радикального журнала "Отечественные Записки", за что был сослан в Сибирь в 1884 году.

жертву молоху часто приносили люди. Символ ненасытной жестокости

⁴⁸ Молох. Древне-языческое божество. В жертву приносили люди. Символ ненасытной жестокости.

(род. 1854 г.) В 1874 г. вступил в Московский кружок Чая. Был арестован. Был оправительственную Земля и Воля. Был арестован и приговорили к бессрочной каторге. Просидел все время в Шлиссельбургской крепости. Автор многих трудов

⁴⁹ Морозов Николай Александрович (род. 1854 г.) В 1874 г. вступил в Московский кружок Чая. Был арестован. Был оправительственную Земля и Воля. Был арестован и приговорили к бессрочной каторге. Просидел все время в Шлиссельбургской крепости. Автор многих трудов

по естественным наукам и по истории христианства. Живет в Нижнем Новгороде.

⁴⁰ Речь идет о царском манифесте 11 августа 1904 г., в котором по случаю рождения наследника обещаны некоторые меры к облегчению положения крестьян и незначительная амнистия.

⁴¹ Александр III (1845—1894). Русский император. Вступил на престол в 1881 г. после убийства народовольцами Александра II. Умственно ограниченный человек, резко высказывался против представительного собрания, выборного начала в России. Реакция при Александре III достигла наибольших размеров. Вместо ожидаемой обществом конституции он издал манифест, в котором говорилось, что „в силу истины самодержавной власти, которую мы (Александр III) призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее попользований“. Наибольшим влиянием у Александра пользовался его воспитатель мракобес Победоносцев. Страна управлялась террором. Народовольцы неоднократно безрезультатно покушались на Александра. Умер естественной смертью, явившеюся результатом пьянства.

⁴² Толстой Д. А. (1823—1889). С 1865 г.— обер-прокурор синода, а с 1866 г.—одновременно министр народного просвещения. Стараясь отвлечь внимание молодежи от современности, поставил в центр школьного изучения древние языки. С 1882 г.—министр внутренних дел. Автор реакционных законов и преобразований. Ограничил самостоятельность земства введением института земских начальников; провел ряд законов к возвышению дворянства, ограничил крестьянское самоуправление, ограничил печать.

⁴³ Алексеевский рavelин. Одно из укреплений Петропавловской крепости. Самая секретная и страшная тюрьма при царизме, где до 80-х гг. содержались „опасные“ государственные преступники. В августе 1884 г. Алексеевский рavelин, как тюрьма, был упразднен.

⁴⁴ Волкенштейн Л. А. (1858—1906). Была хозяйкой конспиративной квартиры, из которой готовилось покушение на харьковского губернатора князя Кропоткина. Арест убийцы Кропоткина—Гольденберга, выдавшего ее, заставил Волкенштейн уехать за границу. В 1883 г. вернулась в Россию; была арестована и приговорена к смертной казни,

замененной 15-летней каторгой. В тюрьмах провела 12 лет, затем отправлена на Сахалин, где жила в теченне 5 лет. Убита во Владивостоке 10 января 1906 г. во время демонстрации в пользу освобождения арестованных матросов.

⁴⁵ Фигнер В. Н. (род. 1852 г.) Из дворян. Училась в Швейцарии в университете. Там вступила в один из русских социалистических кружков. В 1875 г. уехала в Россию для работы в народе. Видя невозможность революционной работы в условиях царизма и неподготовленность крестьянства к идеям социализма и революции, Фигнер, после раскола Земли и Воли, вступила в Народную Волю. Принимала участие во всех террористических предприятиях партии, а также в ее пропагандистской работе. Когда в 1882 году вожди Народной Воли были арестованы, вся тяжесть работы легла на Фигнер, избежавшей ареста. Арестована в 1884 г., приговорена к смертной казни, которая была заменена 20-летней каторгой. Сидела в Шлиссельбурге до 1904 г. и была освобождена. В настоящее время живет в Москве и занята литературной работой.

⁴⁶ Минаков Е. И. (1854—1884). Народоволец. Участвовал в студенческих беспорядках в Одесском университете. Позже был исключен из Петербургской Медико-хирургической академии по подозрению в политической неблагонадежности. Вернувшись в Одессу, поступил рабочим на фабрику и вел там социалистическую пропаганду среди рабочих. В 1879 году арестован. Его ложно обвинили в желании убить одного из агентов одесской полиции. Приговорен к 12 годам каторги. Впоследствии срок каторги был продлен до 30 лет. Наказание отбывал на Каре, в Петропавловке, в Шлиссельбурге, где он и погиб.

⁴⁷ Мышкин И. Н. (1848—1885) Выдающийся революционер-народник. Родился в солдатской семье. Учился в Межевом училище. В Москве работал, как стенограф. В связи с провалом устроенной им типографии в Москве бежал за границу. Вернулся в 1875 г. В 1876 г. арестован близ Вилюйска, Якутской области, при попытке освободить из ссылки знаменитого публициста Н. Г. Чернышевского. Осужден на 10 лет каторги, при чем на суде, состоявшемся в 1877 г. произнес яркую революционную речь. Несколько раз пытался бежать с каторги. За это получил добавочно 15 лет каторжных работ. В августе 1884 г. его перевели в Шлиссельбург. Здесь с целью добиться скорой смерт-

ной казни он вел отчаянную борьбу с тюремщиками и бросил 20 декабря 1884 г. тарелку в зрителя тюрьмы. Приговором суда расстрелян 26 января 1885 г.

⁴⁸ Клименко М. Ф. (1856—1884). Народоволец. В марте 1878 г. исключен из Киевского университета за участие в студенческих беспорядках. В 1880 г. арестован за принадлежность к киевскому революционному кружку и приговорен к ссылке на поселение в Восточную Сибирь. В 1881 г. бежал из ссылки. Принимал активное участие в подготовке покушения на одесского военного прокурора Стрельникова. Приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. 5 октября 1884 г. покончил с собой в Шлиссельбурге, повесившись на вентиляторе.

⁴⁹ Тиханович А. П. (1855—1884). Член военной организации Народной Воли. 17 августа 1882 г. освободил из киевской тюрьмы народовольца Иванова. В марте 1883 г. арестован и приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. В октябре 1884 г. был переведен из Петропавловской крепости в Шлиссельбург, где у него обнаружили признаки психического расстройства. Покушался несколько раз на самоубийство. В декабре 1884 г. умер от чахотки.

⁵⁰ Малавский. В 1879 г. судился вместе с другими по обвинению в участии в Чигиринском деле (попытка устроить крестьянское восстание). Заключен в Шлиссельбург, где и умер в 1885 г.

⁵¹ Буцевич А. В. (1849—1885). Морской офицер. Видный член военной организации Народной Воли. Состоял в первом народовольческом офицерском кружке, образовавшемся в 1880 г. в Кронштадте. Позднее этот кружок занял центральное место. Буцевич все надежды возлагал на военное восстание, хотя бы и не связанное с массовым революционным движением. Восстание, по его мнению, должно быть подготовлено путем пропаганды среди солдат и организации военных кружков. Благодаря Буцевичу военные кружки Одессы и Николаева приняли программу Народной Воли, обняв с оружием в руках явиться к указанному военным центром сроку и месту. В 1882 г. Буцевич арестован и по процессу 17 народовольцев приговорен в 1883 г. к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. В 1884 г. его перевели из Петропавловки в Шлиссельбург, где он и умер от чахотки.

⁵² Долгушин А. В. (1848 – 1885). Проявил себя в технологическом институте, как организатор кружков самообразования и студенческих выступлений. В 1869 г. арестован и привлечен к суду по обвинению в принадлежности к одному из кружков Нечаева. В 1871 г. судом оправдан. Занялся пропагандой среди рабочих, основав свой кружок. Арестован и приговорен к 10-летней каторге. По пути на Кару оскорбил тюремного начальника и пытался устроить побег Малавского, за что ему прибавили 10 лет каторги. В 1883 г. за содействие побегу Мышкина его перевели в Петропавловку, затем в Шлиссельбург, где он и умер.

⁵³ Златопольский С. С. (1858 – 1885). Член Исполнительного Комитета Народной Воли. В 1883 г. арестован и приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Умер в Шлиссельбургской крепости.

⁵⁴ Кобылянский. Народоволец. Судился в 1881 г. по делу об убийстве харьковского губернатора князя Кропоткина. Умер в Шлиссельбурге.

⁵⁵ Иванов, Игнатий. (1859 – 1885). Сын офицера. Студент Киевского университета. Активный деятель киевского революционно-террористического кружка. В 1880 г. арестован и приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Тюремное наказание отбывал на Каре и в Алексеевском равелине. После обнаружения признаков помешательства был переведен в больницу, но потом как „выздоровевшего“ вернули в Шлиссельбург, где он и умер.

⁵⁶ Исаев Г. П. Народоволец. Студент Медицинской академии, где вел революционную агитацию. Участник нескольких покушений на Александра II. Приговорен к смертной казни, замененной пожизненной каторгой. Умер в Шлиссельбурге.

⁵⁷ Немоловский. Народоволец. Сын священника. В 1884 г. приговорен к 20-летней каторге. В 1886 г. умер в Шлиссельбурге от чахотки.

⁵⁸ Грачевский М. Ф. (1849 – 1887). Член Исполнительного Комитета Народной Воли. В 70-х гг. служил на железной дороге

слесарем, а затем и машинистом. Впервые арестован в 1875 г. в Москве и судился по процессу „193“ (противоправительственная пропаганда) и выслан в 1878 г. в Архангельскую губернию. Из ссылки бежал. Принял активное участие в террористической организационной работе „Народной Воли“. В 1882 г. снова арестован, приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. В октябре 1887 г. в Шлиссельбурге окончил жизнь самоубийством.

³⁹ Гинсбург С. М. (1865—1891). Училась в Швейцарии на медицинском факультете. Принимала участие в работе революционных кружков. В 1888 г. возвращается в Россию для работы по восстановлению Народной Воли. В 1889 г. арестована и в 1890 г. приговорена к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Погибла в Шлиссельбурге.

⁴⁰ Ульянов А. И. (1866—1887). Брат В. И. Ленина. Руководитель группы народовольцев, готовивших покушение на Александра III. Будучи в университете обращал на себя внимание своими исключительными способностями. Одновременно участвует в студенческом движении. 13 ноября 1886 г. руководил демонстрацией по поводу 25-летия со дня смерти критика и публициста Добролюбова. Один из организаторов террористической фракции Народной Воли. Все наиболее опасные мероприятия по подготовке покушения на Александра III брал на себя. Впоследствии на суде, желая выгородить своих товарищей, признал за собою всю ответственность. 1 марта 1887 г. в день покушения был арестован. На суде произнес речь, где восхвалял террор, как средство борьбы с самодержавием. 8 мая 1887 г. казнен в Шлиссельбурге.

⁴¹ Генералов Василий. (1867—1887). Из казаков. Студент Петербургского университета. Активный работник террористической фракции Народной Воли. Участвовал в подготовке покушения на Александра III. В день покушения арестован на улице с изготовленной им самой бомбой в руках. 8 мая 1887 г. казнен.

⁴² Осипанов В. С. (1861—1887). В 1881 г. исключен из Казанского университета за участие в студенческих беспорядках. В 1886 г. поступил в Петербургский университет. Участвовал в покушении на Александра III. 1 марта 1887 г. арестован на улице с бомбой в руках.

Приговорен к смертной казни и повешен в Шлиссельбурге 8 мая 1887 г.

⁴² Андреюшкин Пахом. (1865 — 1887). Крестьянин. Будучи в Петербургском университете, примыкает к террористической фракции Народной Воли. Принимал участие в подготовке покушения на Александра III. 1 марта 1887 г. арестован на улице с метательным снарядом в руках. На суде отказался от показаний. Повешен в Шлиссельбургской крепости 8 мая 1887 г.

⁴³ Шевырев П. Я. (1863 - 1887). Студент Петербургского университета. Принимал участие во всех студенческих организациях, одновременно состоя в террористической фракции Народной Воли. Один из инициаторов и организатор покушения на Александра III. Повешен 8 мая 1887 г. в Шлиссельбурге.

⁴⁴ Штромберг А. П. (1854 — 1884). Морской офицер. Член военной организации Народной Воли. Будучи участником покушения на Александра II, он сначала отделался сравнительно легким наказанием. Когда его участие в терроре стало благодаря предательству Дегаева, члену Исполнительного Комитета, связанного с охранкой через подполковника Судейкина, известным правительству, Штромберг был вызван из ссылки и 10 октября 1884 г. повешен в Шлиссельбурге.

⁴⁵ Рогачев Н. (1856--1884). Активный работник военной организации Народной Воли. Вел пропаганду среди офицеров. По делу „14“ террористов осужден к смертной казни и 10 октября 1884 г. повешен в Шлиссельбурге.

⁴⁶ Васильев В. В. (Я. П. Финкельштейн) (1882 -- 1906). Участник революционного движения с ранних лет. В 1903 г. был арестован в Саратове. В 1905 г. бежал из Киевской тюрьмы. 1 июля 1906 г. убил генерала Козлова, принятого им за Трепова. 19 сентября 1906 г. казнен в Шлиссельбурге.

⁴⁷ Янович Л. Ф. (1858—1902). Студент Московской Петровской сельско-хозяйственной академии. Все время принимал участие в революционной работе студенчества. Состоял в подпольных социалистических кружках. В 1881 г. был за границей на интернациональном кон-

грессе в Хуре; по возвращении занялся организацией польского пролетариата. В 1883 г. им в Москве создан Общестуденческий Союз, развернувший большую издательскую и самообразовательную работу. Союз стремился подготовить передовой отряд для революции. При деятельном участии „милитаристов“, первых марксистов, начавших свою деятельность в Москве с 1882 г., эта работа была блестяще проведена, захватив молодежь не только Москвы, но и большинства крупных университетских городов. Разгромлен Союз в 1884 г. Янович арестован по делу польской социалистической революционной партии Пролетариат в Варшаве (1884) и осужден на 16 лет каторги. В Варшавской цитадели просидел два года. В 1886 г. водворен в Шлиссельбург, а в 1896 г. сослан в Средне-Колымск. В 1902 г. застрелился. Янович всю свою жизнь занимался литературной работой. При его участии была составлена первая марксистская программа по самообразованию для студентов. Он принимал участие в выработке программы Группы Освобождения Труда, в издании нелегального журнала студенчества „Союз“, сотрудничал в заграничной польской социалистической печати.

⁶⁹ Поливанов П. С. (1859 — 1903). Из военных. В 1878 г. выслан в Вологодскую губернию. В 1880 г. вернулся, и за вооруженную попытку освободить заключенного приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Заключен в Петропавловку, а с 1884 г. по 1902 г. сидел в Шлиссельбурге. В 1902 году г. выслан в Сибирь. Оттуда бежал за границу и в 1903 г. кончил самоубийством.

⁷⁰ Мартынов Н. (род. в 1855 г.) Рабочий. В 1884 г. арестован при разгроме киевской организации Народной Воли. За принадлежность к Народной Воле, устройство тайной типографии, вооруженное сопротивление приговорен к 12-летней каторге, которую отбывал в Шлиссельбурге с 1884 по 1896 г. Кончил самоубийством в Якутске.

⁷¹ Похитонов Н. Д. (1857—1896). Член, военной организации Народной Воли. Арестован вследствие предательства Дегаева и в 1884 г. приговорен к смертной казни. Подал прошение о помиловании, и смертная казнь была заменена ему бессрочным заключением в Шлиссельбурге. После десяти лет, проведенных в тюрьме, сошел с ума и умер в госпитале.

⁷² Щедрин Н. П. После раскола Земли и Воли стал чернопредельцем. В мае 1881 г. судился по делу Южно-русского рабочего союза и был приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. По дороге на Кару, в Иркутске, за „оскорбление действием“ одного высокого чиновника вторично приговорен к смертной казни, которая и на этот раз была заменена бессрочной каторгой. По постановлению суда был прикован к тачке. Переведен в Алексеевский равелин, где сидел попрежнему прикованный к тачке. Переведен затем в Шлиссельбург, где подвергался постоянным издевательствам со стороны жандармов. Сошел с ума и умер в больнице.

⁷³ Ко на ш е в и ч В. Народоволец. За участие в убийстве жандармского полковника Судейкина приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Сошел в Шлиссельбурге с ума и умер в Казанской психиатрической лечебнице.

⁷⁴ Ч е п е г и н Н. К. (род. 1882 г.) Из рабочих. 12 мая 1902 г. покушался на жизнь генерала Вейса в Киеве. Приговорен к 20 годам каторги. В Шлиссельбурге сидел с 1902 по 1904 г.

⁷⁵ Н е ч а е в С. Г. (1847 — 1882). Известный революционер, последователь Бакунина. Начал с участия в студенческом движении. В изданном им за границей органе „Народная расправа“ он проповедывал беспощадный террор к представителям царизма. Вернувшись в Россию приступил к организации строго-конспиративного, централизованного кружка. Считая революцию высшей целью, он для ее достижения не пренебрегал никакими средствами. С помощью своих товарищей убил студента Иванова, заподозренного в измене. Методы действия Нечаева оттолкнули от него многих революционеров. После убийства Иванова бежал за границу. Но швейцарские власти выдали его как уголовного преступника русскому правительству. В 1873 г. Нечаева приговорили к 20-летней каторге. Ему удалось распропагандировать стражу Алексеевского равелина и вступить в связь с внешним миром. Планы побега Нечаева стали известны правительству, и бежать не удалось. Вскоре после этого Нечаев умер.

⁷⁶ А р о н ч и к А. Б. (1859 — 1888). Народоволец. В революционном движении принял участие с середины 70-х годов. Содержал конспиративную квартиру для собрания народовольцев. Участвовал в ряде

покушений на Александра II. В 1881 г. арестован и приговорен к бессрочной каторге. В августе 1884 г. душевно-больного Арончика переводят из Алексеевского рavelина Петропавловской крепости в Шлиссельбург, где он и умер, тяжело страдая от невероятных физических мук. Хотя Арончик и являлся народовольцем, но по собственному признанию „никогда не разделял и не разделяю даже“ „принципиальных убеждений“ фракции Народной Воли, ни Черного Передела. Вместе с тем он считал себя по убеждению социалистом.

¹⁷ Богданович Ю. Н. (Кобозев) (1850—1888). Член Исполнительного Комитета Народной Воли. „Ходил в народ“, ведя пропаганду среди крестьян Саратовской губ. Был хозяином сырной лавки, откуда под Малую Садовую в Петербурге велся подкоп к месту предполагаемого проезда царя с целью взорвать Александра II. После 1 марта скрылся и деятельно работал в Красном Кресте Народной Воли и в организации побегов из Сибири политических. Арестован в 1882 г. и приговорен по делу об убийстве царя и другим террористическим актам к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Умер в Шлиссельбурге от чахотки.

¹⁸ Буцинский Д. М. (1851—1891). Из духовной среды. Исключен из Харьковского университета за участие в студенческих волнениях. Еще в университете был участником революционного движения 70-х гг., стремился к объединению Народной Воли и Черного Передела в единую революционную организацию. В 1879 г. арестован и приговорен к 20-летней каторге, которую отбывал на Каре. За столкновение с тюремным начальством его перевели в 1882 г. в Петропавловскую крепость, а в 1884 г. в Шлиссельбург, где он и умер 4 июля 1891 г.

¹⁹ Гейлис М. В. Приговорен в 1880 г. одесским судом к каторге за составление и расклейку прокламаций, покушение на шпиона и т. д. С Кары переведен в Шлиссельбург.

²⁰ Юрковский Ф. Н. В 1860 г. осужден в Киеве на 20 лет каторги за участие в конфискации денег в Херсонском казначействе, приготовлении бомб и т. д. Отправлен на Кару. Впоследствии переведен в Петропавловку, затем в Шлиссельбург, где и умер в 1896 г.

⁸¹ Варынский Людвиг (1856 — 1889). Один из организаторов польской социалистической революционной партии Пролетариат. В конце 1876 г. вел социалистическую пропаганду среди рабочих Варшавы. В 1878 г. вел работу среди революционных кружков Галиции (Австрия). В 1879 г. его арестовали и выслали из Австрии. Жил в Швейцарии. В 1881 г. положил начало партии Пролетариат. В 1883 г. им написана прокламация партии, обращенная к рабочим, в которой они призывались противодействовать на фабриках польше-скому санитарно-медицинскому осмотру женщин. Был в тесной связи с русскими революционерами. В этом же году арестован и приговорен к 16 годам каторги. Умер в Шлиссельбурге, заболев там чахоткой.

⁸² Иоанн Антонович (род. в 1740 г.) После смерти императрицы Анны Леопольдовны был провозглашен императором. Когда в результате дворцового переворота троном завладела Елизавета Петровна, она арестовала малолетнего императора Иоанна Антоновича и в 1756 г. он был водворен в Шлиссельбургскую крепость. Содержался там в строжайшей тайне и в конце концов сошел с ума. В 1764 г. была сделана попытка освободить его. После этой попытки был, по распоряжению императрицы, убит стражей во избежание возможности освобождения опасного конкурента.

⁸³ Когда цифра самоубийств, психических расстройств, болезней в Шлиссельбурге резко повысилась, администрация тюрьмы организовала для заключенных ряд мастерских (столярную, кузнечную и др.), где арестованные, занимаясь физическим трудом, не так быстро гибли. В этих мастерских работали главным образом «старшки», т. е. народовольцы.

⁸⁴ Карпович П. В. Студент. Эс-эр. Участвовал в студенческих беспорядках. 14 февраля 1901 г. убит министра народного просвещения Богомолова, автора постановления об отдале студентов-участников беспорядков в солдаты. Карповича осудили на 20 лет каторги. Сидел в Шлиссельбурге до 1906 г., когда был сослан в Сибирь. Бежал за границу. В 1917 г., возвращаясь в Россию, погиб при взрыве немецкой подводной лодкой парохода, на котором он ехал.

⁸⁵ Куропаткин А. Н. (род. в 1848 г.) Во время русско-японской войны главнокомандующий вооруженными силами России. Отличился полным отсутствием инициативы. Позорно проиграл войну.

⁸⁴ Стессель. Начальник вооруженных сил Порт-Артура. Сдал крепость с 30-тысячным гарнизоном и полным военным снаряжением.

⁸⁵ Иезуит. Член духовного ордена иезуитов, основанного в 1534 г. для защиты католичества. В своих действиях иезуиты не пренебрегали никакими средствами, руководясь правилом: „цель оправдывает средства“.

⁸⁶ Убийство Плеве, рост общественного недовольства заставили правительство пойти хотя бы на словесные уступки. Новый министр внутренних дел Святополк-Мирский провозглашает „доверие“ к общественным силам. Он разрешил в ноябре 1904 г. съезд деятелей земств. Затем, испугавшись, запретил съезд, который все же заседал полулегально и высказался за народное представительство. По всей стране пошли банкеты, где представителями либеральной буржуазии произносились речи о необходимости политических свобод, ограничения самодержавия и т. д. Посыпались протесты, прошения о чинимых насилиях. 12 декабря 1904 г. правительство издает указ, где обещает некоторые административные реформы, но вместе с тем заявляет о незыблемости самодержавия. Несколько дней спустя после указа запрещаются всякие собрания, митинги, начинаются гонения на печать. 9 января 1905 г. положило конец иллюзиям „весны“ 1904 г. Ясно стало, что одними прекрасными речами без решительного наступления не запугать самодержавия.

⁸⁷ Подразумевается так называемая булыгинская Дума. Манифест 6 августа 1905 г. о созыве этой Думы являлся жалкой попыткой самодержавия погасить революционное движение путем ничтожной уступки. По манифесту Дума могла только подавать свое мнение о тех или иных законах, сама же не имела права выработать законы. Исключительно высокий имущественный ценз устранил от участия в выборах в Думу рабочих, огромные массы крестьянства и мелкой буржуазии городов. Большевики бойкотировали Думу, меньшевики считали возможным довольствоваться и этим куцым представительством, дарованным царем. Революционным напором рабоче-крестьянских масс булыгинская Дума была сметена.

⁸⁸ Сазонов Е. С. (1879—1910). В 1901 г. участвовал в Москве в студенческих беспорядках. В 1902 г. арестован за хранение рево-

люционной литературы. Просидел свыше года в тюрьме. В 1903 г. выслан на 5 лет в Якутскую область, откуда бежал за границу. Стал членом боевой организации эс-эровской партии, по поручении которой, вернувшись нелегально в Россию, убил 15 июля 1904 г. министра внутренних дел Плеве. За убийство осужден на каторжные работы. Наказание отбывал в Шлиссельбурге, а затем в Акатуйских рудниках (Сибирь). 27 ноября 1910 г. кончил жизнь самоубийством в виде протеста против издевательств над политическими заключенными.

⁹¹ Ашенбреннер Михаил Юльевич. (1842—1926). Видный деятель военной организации Народной Воли. В 1864 г. за отказ принять участие в подавлении польского восстания переведен в Туркестан. С 1880 г. отдает всю энергию организации революционных кружков среди военных и сплочению их вокруг Народной Воли. В марте 1883 г. арестован и по процессу „14“ (террористическая деятельность) приговорен к смертной казни, замененной заключением в Шлиссельбурге. Отсюда Ашенбреннер вышел в 1904 г., просидев в тюрьме 20 лет.

⁹² Иванов В. Л. (род. в 1859 г.) Студент Киевского университета. Народоволец. Арестован в 1882 г. Бежал из киевской тюрьмы. В 1883 г. опять арестован. По процессу „14“ присужден к бессрочной каторге. Сидел в Шлиссельбурге с 1884 по 1904 г.

⁹³ Мукден, Ляоян, Цусима. В этих местах на Дальнем Востоке японцы разбили русскую армию и флот.

⁹⁴ Речь идет о восстании на броненосце „Потемкин Таврический“. После позорного исхода русско-японской войны и в связи с жестокой дисциплиной во флоте среди матросов началось сильное брожение. 14 июня 1905 г. матросы „Потемкина“ в ответ на попытку заставить их сидеть есть гнилое мясо выбросили за борт 8 офицеров. Броненосец, руководимый матросами, направился в Одессу, где происходила забастовка и восстание рабочих. Желая поддержать рабочих, революционный „Потемкин“ обстрелял Одессу, не причинив существенного вреда. Вследствие неорганизованности движение в Одессе было подавлено. К восставшему „Потемкину“ присоединился броненосец „Георгий Победоносец“, но это был некрепкий союзник, ибо матросы корабля вскоре испугались бунта и сдались. На „Потемкине“ началось

разложение. Победила партия старых, сверхсрочных матросов — кондукторов. После 14-дневного плавания по Черному морю, страдая от отсутствия угля, провианта и пресной воды, броненосец сдался румынам в Констанце. Матросы разбрелись. Несмотря на объявленную Николаем амнистию, вернувшегося в Россию вожака восстания, матроса Матюшенко, в 1907 г. казнили. Сдавшихся матросов „Георгия Победоносца“ также не пощадили и 67 из них были частью расстреляны, частью сосланы на каторгу.

⁹⁵ Покушение на Сергея. 4 февраля 1905 г. эс-эр Каляев убил московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича.

⁹⁶ Антонов П. Л. (1859 — 1916). Рабочий. Сначала вел мирную пропагандистскую работу среди рабочих. Затем в 1882 г., став на точку зрения террора, вошел в Народную Волю. Работал как агитатор среди крестьян и рабочих, а также среди религиозных раскольников—штундистов Харьковской и Полтавской губ. В 1885 г. арестован, на его квартире найдены бомбы. В 1887 г. его приговорили к каторжным работам. В Шлиссельбурге пробыл больше 18 лет.

⁹⁷ Иванов С. А. (1859 — 1927). Народоволец. В 1879 г. выслан в Сибирь. Вернулся в Петербург в январе 1881 г. В том же году вторично выслан в Сибирь. Бежал оттуда в 1882 г. Принял активное участие в террористической и пропагандистской работе Народной Воли. Арестован. Смертная казнь заменена бессрочной каторгой. В 1905 г. освобожден из Шлиссельбурга.

⁹⁸ Новорусский М. В. (1861 — 1925). Из низшего сельского духовенства. Привлекался к суду по делу о покушении на Александра III. Его участие в этом деле выразилось в том, что у него на квартире А. И. Ульянов готовил динамит. Новорусский был приговорен к бессрочной каторге. Пробыл в Шлиссельбурге до 1905 г.

⁹⁹ Попов М. Р. (1851—1909). Из духовной среды. С осени 1875 г. жил под Петербургом, агитируя среди рабочих. Вошел в организацию Земля и Воля. Был видным членом кружка в Ростове, занимавшегося пропагандой среди интеллигенции и рабочих. В 1877—78 гг. продолжал пропагандистскую работу среди петербургских рабочих. Наравне

с Шлехановым сыграл видную роль в руководстве забастовкой на фабрике Горьтона в Петербурге в марте 1878 г. Выступая против террора, Попов после раскола Земли и Воли примыкает к Черному Переделу. Принимает меры к соединению Народной Воли и Черного Передела. Попову удалось связать свою работу с народо-вольцами, и он, работая в народе, одновременно занялся террористической деятельностью. В феврале 1879 г. убил шпиона Рейнштейна. В 1880 г. арестован и приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Из Шлиссельбурга вышел в 1905 г.

¹⁰⁰ Фроленко М. Ф. (род. в 1848 г.) Один из самых выдающихся деятелей Народной Воли. В 1873 г. вступил в кружок Чайковцев и занялся обучением рабочих грамоте. Вел пропагандистскую работу на Урале, в Смоленской губ., в Николаеве. В 1877 г. увозит из одесской тюрьмы революционера Костюрина. В 1878 г. поступает в Киевскую тюрьму надзирателем и освобождает революционеров Стефановича, Дейча, Бохновского. Принимал участие в подкопе под Херсонское казначейство для конфискации оттуда денег. Участвовал в покушениях на Александра II. Арестован и в 1882 г. приговорен к смертной казни, замененной пожизненной каторгой. Из Шлиссельбурга вышел в 1905 г. В настоящее время живет в Москве.

¹⁰¹ „Великие акты“ 18 февраля. 18 февраля 1905 г. опубликовано царское предписание на имя министра внутренних дел Булыгина, которому поручалось выработать положение о Государственной Думе. В тот же день вышел указ сенату, возлагавший на совет министров рассмотрение поступающих от частных лиц и учреждений заявлений и ходатайств, касающихся усовершенствования государственного строя. Одновременно издан манифест, призывавший общество бороться с „храмой“.

¹⁰² Под напором всеобщей забастовки октября 1905 г. рабочих и крестьянских волнений самодержавие несколько отступило. Витте, слышавший в обществе либералом, стал во главе кабинета. Публикуется манифест 17 октября, по которому обещаны политические свободы, расширение избирательных прав населения, расширены права Государственной Думы. Витте ведет переговоры с либеральными общественными деятелями об их вступлении в состав министерства. Насколько искренно было правительство в своих уступках, показывает то, что

одновременно с манифестом 17 октября по всей России прокатилась волна черносотенных, контр-революционных погромов.

¹⁰² Витте С. Ю. (1849—1915). Русский государственный деятель конца XIX и начала XX в. крупный и дальновидный министр кабинетов царствования Александра III и Николая II. Начав с должности скромного железнодорожного чиновника, он дослужился до высших постов. Много содействовал развитию капитализма в России: расширением железнодорожной сети, укреплением валюты, покровительством промышленности. Вел переговоры о заключении русско-японского мира. В 1905 году предлагал ряд реформ, дабы ликвидировать революционное движение принимал участие в составлении манифеста 17 октября 1905 г. После поражения революции 1905 г. Витте получил отставку и больше не привлекался к руководству государственными делами.

¹⁰⁴ Речь идет о всеобщей октябрьской политической забастовке, вспыхнувшей в октябре 1905 г., охватившей огромные слои трудящихся. Забастовщики выставили ряд политических требований. Мощь забастовки заставила правительство пойти на уступки и издать манифест 17 октября.

¹⁰⁵ Земства — органы самоуправления господствующих классов России. Возникли в эпоху „великих реформ“ Александра II. В первый период революции 1905 г. земства выступили на своих многочисленных съездах с требованием политических свобод, ограничения самодержавия и т. д. Потом в связи с развертыванием массового движения пошли на соглашение с царизмом для совместного разгрома рабочего и крестьянского движения.

¹⁰⁶ Амнистия. 21 октября 1905 г. вышел указ об амнистии по политическим преступлениям. По этой амнистии были освобождены все шлиссельбуржцы, кроме Гершуни, Карповича, Сикорского, Мельникова и Сазонова.

¹⁰⁷ „Бессмысленные мечтания“. Так сказал Николай II 17 января 1906 г. в речи к представителям дворянства, земства и городов по поводу людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления.

¹⁰⁶ „Русское богатство“. Ежемесячный журнал, основанный в 1876 г. В начале 90-х годов перешел к нвродникам и стал главным органом борьбы против марксизма. Орган народнической интеллигенции, сложившейся потом в народно-социалистическую партию.

¹⁰⁸ Мякотни В. А. (род. в 1867 г.). Общественный деятель. Один из организаторов народно-социалистической партии. С конца 1904 г. член редакции „Русского Богатства“. В настоящее время находится в белой эмиграции.

¹¹⁰ Сикорский Л. В. Рабочий. Один из участников покушения на Плеве. По суду получил 20 лет каторги. Сидел в Шлиссельбурге. По октябрьской амнистии 1905 г. ему был сокращен срок каторги. В 1906 г. его из Шлиссельбурга перевели в Акатуйскую каторжную тюрьму.

¹¹¹ 30 октября 1905 г. в Владивостоке вспыхнул бунт солдат и матросов на почве запрещения солдатам посещать митинги. Восставшие освободили арестованных из тюрем, разгромили ряд военных учреждений.

¹¹² 24 октября 1905 г. на огромном матросском митинге в Кронштадте была выработана петиция к царю, содержащая экономические и общеполитические требования. Комендант приказал арестовать 400 человек. Начались столкновения солдат и матросов с „верными“ войсками. 28 октября восстание было подавлено силами присланных из Петербурга войск.

¹¹³ 15 июля 1904 г. Сазонов убил Плеве.

¹¹⁴ 9 января 1905 г. „Кровавое воскресенье“ произошло в Петербурге. Поводом послужило увольнение семи рабочих с Путиловского завода и неудовлетворение администрацией требования о приеме уволенных. Рабочие 3 января забастовали, а к 6 января бастовало 150 тысяч с разных заводов. Забастовка носила мирный характер, но с ярко выраженным политическим оттенком. В то время существовало „Собрание русских фабрично-заводских рабочих С.-Петербурга“, руководимое священником Георгием Гапоном (агентом охранного отделения). Эта организация не считала, что классовой борьбой можно

добиться улучшения своих интересов. По уставу общество было открыто для „трезвого и разумного провождения членами „Собрания“ свободного от работ времени с действительной для них пользой“, „возбуждения и укрепления“ среди них „национального самосознания“, развития в них разумных взглядов „на обязанности и права рабочих“ и „проявления“ ими „самодеятельности, способствующей законному улучшению условий труда и жизни рабочих“. Общество, организованное с разрешения правительства, должно было противодействовать революционной агитации партий. В отделах этого „Собрания“ рабочие выработали свои требования и решили в определенный день вместе пойти к Зимнему дворцу и изложить в прошении царю о всех невзгодах рабочих. Гапон письмом предупредил царя и министра внутренних дел, что шествие мирное. Социал-демократы выступили против шествия к царю, доказывая неизбежность расстрела; но масса слепо шла за Гапоном. 9 января ко дворцу потянулись сотни тысяч рабочих с хоругвями и портретами Николая II. Во главе процессии в священническом облачении шел Гапон. Безоружные манифестанты были встречены в разных местах градом пуль. Пострадавших насчитывалось до 1000. Быстро узнала страна об этом злодеянии царя. Бурной революционной волной ответил рабочий класс на вызов правительства.

¹¹³ На протяжении всего 1905 г. царские слуги организовывали хулиганские отряды черносотенцев, устраивавшие погромы и избивавшие демонстрантов.

¹¹⁴ Советы рабочих депутатов возникали в 1905 г. стихийно, как органы, возглавлявшие борьбу пролетариата. Они придавали борьбе организованный характер, заставляя правительство прислушиваться к требованиям рабочих. Наиболее крупным, организованным и имевшим колоссальное политическое значение был Совет Рабочих депутатов в Питере. Позже Советы возникают в Москве, Новороссийске, Николаеве, Одессе, Самаре, Киеве, Ростове и т. д. Все эти Советы являлись не только организаторами и руководителями пролетариата, но подчас захватывали власть над городом в свои руки. Эти Советы являли собой прообраз Советов 1917 года, вначале организовавших силы рабочего класса и контролировавших власть буржуазии, но вскоре захвативших в свои руки государственную власть.

¹¹⁷ 2 декабря 1905 г. было закрыто девять социалистических газет за напечатание манифеста Совета рабочих депутатов, крестьянского союза и социалистических партий. Манифест требовал созыва учредительного собрания, призывал отказаться от уплаты налогов и рекомендовал всем требовать обратно свои вклады из сберегательных касс. Этим манифестом устанавливалось начало двоевластия и подрывалось не только доверие к правительству, но и экономическое благополучие страны.

¹¹⁸ 25 июля 1830 г. французский король Карл X издал несколько реакционных постановлений (предварительная цензура для газет и журналов, роспуск палаты депутатов, изменение избирательного права). 26 июля противоправительственная газета „Nationale“ опубликовала протест против этих постановлений и призвала народ к сопротивлению. Начались волнения и столкновения между народом и войсками. В результате Карл X был свергнут.

¹¹⁹ Московские события. Речь идет о вооруженном восстании в Москве в декабре 1905 г. 6 декабря Московский Совет призвал рабочих объявить всеобщую забастовку и взяться за оружие. 7 декабря забастовало большинство промышленных предприятий, железные дороги (кроме Николаевской), почта, телеграф. Началось восстание. Правительство заблаговременно подавило волнения в гарнизоне и изолировало рабочих от солдат. Дольше всех стойко держалась Пресня. Баррикады, партизанские бои длились с 9 до 18 декабря. Военная подмога из Петербурга верных правительству войск решила исход восстания. Рабочие были разбиты. Опыт декабрьского восстания был учтен в тактике Октябрьской революции 1917 года.

¹²⁰ Карл Маркс (1818—1883). Великий революционер и ученый, формулировавший основы научного социализма. В университете изучал философию, историю, право. В 1845 году выслан, как опасный революционер, из Парижа, куда он переехал из Германии. Весной 1847 г. принял участие в тайном пропагандистском обществе Союз Коммунистов и по поручению этого общества вместе с Энгельсом составил вышедший в 1848 г. „Коммунистический манифест“. В этом произведении даны основы пролетарского мировоззрения: исторический материализм; диалектика, как глубочайшее учение о развитии; учение классовой борьбы и историческая роль пролетариата, как творца нового

общества. Гонимый буржуазно-дворянскими правительствами, Маркс переезжал из Бельгии в Германию, оттуда в Париж и, наконец, в Лондон, где он жил до самой смерти. Главные силы Маркс посвятил своему основному труду „Капитал“, революционизировавшему политическую экономку. В 1864 году основан I Интернационал. Маркс был его главным творцом и автором многочисленных резолюций и обращений Интернационала. В борьбе с разными мелко-буржуазными течениями Маркс выковал единую тактику борьбы международного пролетариата.

Усиленная теоретическая и практическая работа подорвала силы Маркса. 14 марта 1883 г. он умер. Его неутомимую деятельность по организации пролетариата и внедрению основ революционного марксизма продолжал лучший друг пролетариата и Маркса—Фридрих Энгельс.

¹²¹ Трепов Д. Ф. (1855—1906). Сын петербургского градоначальника, наказавшего розгами политического, в которого стреляла Вера Засулич в 1878 г. После событий 9 января назначен петербургским градоначальником. В мае 1905 г. назначен товарищем министра внутренних дел и командующим отдельным корпусом жандармов. С этого времени он становится вдохновителем всей правительственной политики.

Во время всеобщей забастовки, 14 октября, Трепов издает знаменитый приказ: „Патронов не жалеть“. Усмирение декабрьского восстания, черносотенные погромы, карательные экспедиции — все это проводилось под руководством Трепова. „Вахмистр по воспитанию и погромщик по убеждению“, он в дни I-й Думы либерализирует и ведет переговоры с Милюковым о создании кадетского министерства. Впоследствии дворцовый комендант.

¹²² Столыпин П. А. (1862—1911). Деятель царствования Николая II. Помещик-консерватор. Защитник зажиточного крестьянства, могущего стать опорой консерватизма. В бытность его министром внутренних дел, а затем премьером погромы и военно-полевые суды широко практиковались. Жестоко преследовал аграрно-крестьянское движение. Подготовил и провел роспуск I-й и 2-й Думы. Всячески стремился предотвратить революционное разрешение социальных противоречий. Убит в Киеве провокатором из бывших революционеров Богровым.

¹²⁸ Отрывок „После побега“ написан Е. Сазоновым. Он был прислан, как письмо, из акатуйской тюрьмы.

Первоначально помещен в книге Г. Гершуни „Из недавнего прошлого“ С.-Петербург 1907 г., издание „Школьное и библиотечное дело“.

Упоминаемый Сазоновым Сидорчук—член боевой дружины партии эс-эров. Он убил 24 апреля 1906 г. в Житомире полицейского пристава Куярова. В Житомире был организованный погром, черная сотня напала на революционеров. Погром перешел впоследствии на избитие евреев. Куяров выказал свою жестокость как до, так и во время самого погрома.

Сидорчук был осужден на каторгу.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Александр III** 75, 152, 214, 221, 225, 226, 233, 235.
Александр II 216, 218, 224, 226, 229, 234, 235.
Андреюшкин Пахом 79, 226.
Арончик А. Б. 80, 228, 229.
Анна Леопольдовна 230.
Ашенбреннер М. Ю. 104, 232.
Антонов П. 108, 160, 232, 233.
Азеф Е. Ф. 4, 5, 8.
- Балмашев С. В.** 3, 4, 5, 7, 60, 79, 88, 157, 158, 159, 160, 162, 214, 219.
Богданович Ю. М. (Кобозев) 80, 229.
Бушинский Д. М. 80, 229.
Бохановский И. В. 234.
Булыгин А. Г. 234.
Богров Д. Г. 239.
Барт Б. П. 44.
Бобринцев-Пушкин А. В. 46, 50, 218.
Богданович Н. М. 13, 26, 211, 212.
Бирон 215.
Брешковская Е. К. 216.
Буцевич А. В. 77, 80, 223.
- Шеревкии, полковник** 27.
Вайценфельд А. И. 44, 50, 212, 217.
- Володарский В. М.** 213.
Ветрова М. Ф. 28, 214.
Фон-Валь Н. В. 26, 214.
Волкенштейн Л. А. 75, 80, 221.
Васильев В. В. 47, 79, 162, 226.
Вейс, генерал 228.
Варынский Людвиг 80, 230.
Витте С. Ю. 118, 119, 234, 235.
- Гершуни Г. А.** 4, 5, 6, 7, 8, 19, 25, 62, 100, 106, 207, 208, 211, 212, 216, 217, 235, 240.
Григорьев Е. К. 4, 5, 38, 39, 42, 44, 46, 47, 50, 61, 212, 216.
Гюго Виктор 61, 212.
Голыцын Д. М. 215.
Гарibaldi 217.
Гриневицкий И. И. 218.
Гершкович Х. 60, 79, 161, 162, 163, 220.
Гольденберг Г. Д. 221.
Грачевский М. Ф. 77, 79, 224.
Гинсбург С. М. 78, 79, 225.
Генералов В. Д. 79, 225.
Геллис М. В. 80, 229.
Гапон Георгий 236, 237.
- Дулебов Егор** 212.
Деникин А. И. 218.
Достоевский Ф. М. 219.
Долгушин А. В. 77, 80, 224.

Добролюбов Н. А. 225.
 Дегаев С. П. 5, 226, 227.
 Дейч Л. Г. 234.

Егоров, матрос 217.
 Елизавета Петровна 230.

Желябов А. И. 5, 7, 218.

Златопольский С. С. 77, 80, 224.
 Засулич В. И. 239.
 Зубковский, жандарм 172.

Иоанн Антонович 87, 215, 230.
 Иванов Игнатий 77, 80, 223, 224.
 Исаев Г. П. 77, 80, 224.
 Иванов, нечаевец 228.
 Иванов В. Л. 104, 232.
 Иванов С. А. 108, 131, 233.
 Игнатъев, министр 173.

Иаплан Ф. Е. 213.
 Качура Ф. К. 4, 30, 31, 32, 38, 39,
 42, 46, 48, 49, 50, 63, 93, 94, 155,
 156, 157, 214, 215.

Карабчевский Н. П. 39, 44, 216.
 Каракозов Д. В. 216.
 Кибальчич Н. И. 218.
 Каляев И. П. 4, 5, 7, 60, 79, 134,
 160, 161, 162, 220, 233.

Кропоткин П. А. 221, 224.
 Клименко М. Ф. 77, 79, 223.
 Кобылянский 77, 80, 224.
 Козлов, генерал 226.
 Конашевич В. 80, 228.
 Карпович П. В. 95, 105, 106, 107,
 108, 132, 136, 230, 235.
 Куропаткин А. Н. 96, 230.
 Костюрин В. 234.
 Карл X 238.

Лавров П. Л. 211, 217.
 Ленин В. И. 5, 213, 225.
 Леккерт Гирш 214.
 Лопатин Г. А. 44, 108, 126, 216,
 217.
 Лукашевич И. Д. 108, 115.

Мельников М. М. 210.
 Мирбах 213.
 Маркс Карл 152, 217, 238, 239.
 Муравьев Н. В. 50, 218.
 Михайлов А. Д. 218.
 Морозов Н. А. 67, 108, 115, 220.
 Минаков Е. И. 76, 77, 79, 222.
 Мышкин И. Н. 76, 77, 79, 222, 224.
 Малавский 77, 80, 223, 224.
 Мартынов Н. 79, 227.
 Мельников 174, 235.
 Мякотин В. А. 125, 236.
 Милюков П. Н. 239.
 Макаров А. А. 35, 37, 39, 56, 57,
 71, 164.
 Медем, барон 60, 162.

Николай II 214, 233, 235, 237, 239.
 Нечаев С. Г. 80, 224, 228.
 Немоловский 77, 80, 224.
 Новорусский М. В. 108, 115, 233.

Оболенский И. М. 4, 26, 30, 211,
 214, 215, 217.
 Осипянов В. С. 78, 225.
 Остен-Сакен 45, 54, 62, 101.
 Окунцев 174.

Победоносцев К. П. 26, 47, 212,
 214, 216, 221.
 Плеве В. К. 3, 31, 34, 37, 38, 40, 47,
 60, 65, 68, 71, 75, 80, 95, 97, 98, 99,

- 101, 102, 116, 131, 135, 152, 173, 215, 220, 231, 232, 236.
- Павлов В. П. 45, 54, 217.
- Перовская Софья 5, 7, 218.
- Поливанов П. С. 79, 227.
- Похитонов Н. Д. 80, 227.
- Попов М. Р. 108, 114, 124, 125, 233.
- Плеханов Г. В. 234.
- Ремянникова** Л. А. 13, 44, 46, 50, 51, 212.
- Рысаков Н. И. 218.
- Рогачев Н. М. 79, 226.
- Рейнштейн Н. В. 234.
- Руссель Н. К. 205.
- Сипягин** Д. С. 3, 26, 41, 173, 211, 212, 214, 215, 219.
- Сазонов Е. С. 3, 4, 5, 101, 102, 131, 132, 135, 136, 178, 215, 216, 231, 235, 236, 240.
- Савинков Б. В. 220.
- Сергей Александрович 4, 106, 134, 220, 233.
- Стрельников ген. 223.
- Судейкин Г. П. 226, 228.
- Стессель, ген. 96, 231.
- Святополк-Мирский 231.
- Стефанович Я. В. 234.
- Сикорский Л. В. 131, 132, 235, 236.
- Сидорчук 207, 240.
- Столыпин П. А. 239.
- Толстой** Д. А. 75, 95, 152, 173, 221.
- Тиханович А. П. 77, 79, 223.
- Трепов Д. Ф. 162, 226, 239.
- Трусевич 25, 30, 32, 33, 41, 42, 48, 49, 156, 173.
- Туруншаев 174.
- Ульянов** 79, 225, 233.
- Урицкий 213.
- Фигнер** В. Н. 75, 104, 222.
- Фроленко М. Ф. 108, 115, 122, 126, 234.
- Филипьев, палач 5, 6, 158, 160.
- Халтури** С. Н. 5.
- Чернышевский** Н. Г. 217, 222.
- Чепеги Н. К. 80, 94, 228.
- Шевырев** П. Я. 79, 226.
- Штромберг А. П. 79, 226.
- Щедрин-Салтыков** М. Е. 60, 220.
- Щедрин Н. П. 80, 228.
- Энгельс** Фридрих 217, 239.
- Энгельгардт А. П. 99.
- Юрковская** Ю. Ф. 46, 47, 51, 212.
- Юрковский Ф. Н. 80, 229.
- Янович** 79, 226, 227.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие В. Невского	3
-----------------------------------	---

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

АРЕСТ И СУД

Глава I. То было раннею весной	13
• II. Во что бы то ни стало бежать	20
• III. Заявлений никаких не имеете?	25
• IV. Пощадите свою жизнь	31
• V. Наедине с живым человеком	38
• VI. Обвинительный акт	41
• VII. Сквозь неприятельский строй	43
• VIII. Мундирные холодные души	45
• IX. Исковерканные жандармами люди	46
• X. Трагедия несчастной души	48
• XI. Простое человеческое слово	50
• XII. Суд совещается. Смертная казнь	52
• XIII. От смерти к жизни	58
• XIV. Вместо казни пытаются	63
• XV. В томительном ожидании	67

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ШЛИССЕЛЬБУРГ

• I. Безумное рыдание и безумный смех	75
• II. В воротах темной пропасти	80
• III. Трагедия бессрочно заточенного	85
• IV. Никаких вестей, никаких перемен	93
• V. Весна какая-то наступила	97

Глава	VI. Мы — победители, но в плену	108
„	VII. Еврейская сказка о козе	109
„	VIII. В безнадежном одиночестве	113
„	IX. В „парламенте“ Шлиссельбурга	115
„	X. Амнистия — в Сибирь	126
„	XI. Картина роста революции	131
„	XII. Снова спустился мрак	139
„	XIII. Шлиссельбурга нет	144
„	XIV. Рассказы очевидцев о пытках и смерти	153
„	XV. В ожидании бури	164

часть третья

МОЙ ПОБЕГ

Глава	I. Все мысли — бежать	171
„	II. Бежать в бочке с капустой	175
„	III. Упаковка в бочку	178
„	IV. Через тюремные ворота	180
„	V. Бочка в погребе	182
„	VI. „Акушер“ и второе рождение	185
„	VII. Сигналы надежны — лежите спокойно	187
„	VIII. Новая тревога	190
„	IX. Опасный путь	192
„	X. Беспременно убьют	198
„	XI. Типичный оборванец	202
„	XII. В Японии	205
	После побега (отрывок)	206
	Примечания	211
	Указатель имен	241